



ГРИГОРИЙ ШИЛТЯН

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ НАХИЧЕВАНЦЕВ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ НАХИЧЕВАНЦЕВ

Григорий Шилтян
МОЁ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Перевод с итальянского
Андрея Летовальцева

Под общей редакцией Михаила Талалая

Ростов-на-Дону
2025

ББК 85.103(2+51)6+85.103(4Ита)6
Ш 59

Ш 59 «Григорий Шилтян. Мое приключение». (сер. «Жизнь замечательных нахичеванцев»). – Ростов-на-Дону, 2025. – с., илл.

Книга «Моё приключение» (первая часть) – это написанные в лёгкой остроумной манере воспоминания известного итальянского художника армянского происхождения Григория Шилтяна (20.08.1900, Нахичевань-на-Дону – 1.04.1985, Рим). Она повествует о детстве и юности автора, проведённых в дореволюционных Нахичевани и Ростове, о жителях этих городов, их быте и нравах. Рассказывает автор и о драматическом периоде Гражданской войны, когда однажды и навсегда был нарушен ростово-нахичеванский пасторально-патриархальный мир, о том, через какие испытания пришлось пройти юному тогда ещё Шилтяну прежде чем ему удалось добраться до Италии, страны, где он обрёл не только покой и семейное счастье, но и известность художника, пишущего в манере близкой к тому, что называют фотореализмом.

Впрочем, уникальность книги «Моё приключение» состоит не только в этом. В литературе новейшего периода вряд ли найдётся мемуарный труд столь необычной судьбы. Написанные на русском языке, оригиналы воспоминаний были утрачены после ухода из жизни художника. К счастью, Григорий Иванович успел перевести их на итальянский язык и издать в 1963 году, которые, в свою очередь, были вновь переведены на русский язык ростовчанином А. О. Летовальцевым.

Завершились же приключения книги «Моё приключение» её изданием в ставшей уже популярной книжной серии «Жизнь замечательных нахичеванцев». Думается, что Григорий Иванович Шилтян, чьё 125-летие мы отмечаем в 2025 году, всю жизнь тосковавший по Родине, был бы доволен этим обстоятельством.

ISBN 978-5-6054071-1-9

Проект осуществлён в рамках культурной программы РРОО «Ново-Нахичеванская-на-Дону армянская община».

ISBN 978-5-6054071-1-9

*© А. Летовальцев, перевод,
подбор иллюстраций, комментарии, 2025*

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ НАХИЧЕВАНЦЕВ

Григорий Шилтян
МОЁ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Перевод с итальянского
Андрея Летовальцева

Под общей редакцией Михаила Талалая

Ростов-на-Дону
2025

Навстречу свету Италии

Предисловие



Известный итальянский художник Григорий Иванович Шилтян и Gregorio Sciltian – это один и тот же человек. Произведения с подписью Sciltian есть во многих музеях Италии и других стран Европы (например, в Музее современного искусства в Париже и в Королевском музее в Брюсселе), но подавляющее большинство его творческого наследия хранится в частных собраниях, поскольку на протяжении десятилетий Григорий Иванович был весьма востребованным портретистом (в том числе – официальным портретистом семьи князя Монако Рене III).

Григорий Шилтян много работал и по заказам Ватикана и для итальянских храмов. Например, для баптистерия римской базилики Непорочного сердца Девы Марии (Basilica del Cuore Immacolato di Maria) он выполнил (1960–1962 гг.) цикл из девяти полотен на сюжет «Крещение Христа».

Кроме того, он был популярным художником театра, а также книжным иллюстратором.

Г. И. Шилтян (или Шилтов, как писал свою фамилию его отец) родился 20 августа 1900 года в Нахичевани-на-Дону. Он писал о своих армянских корнях: *«Мой дед по отцу прибыл в Нахичевань из Турции в 1820 году. ... Мой отец рано осиротел, почему был отправлен на учебу в Москву, в Лазаревский институт, при котором действовал и Институт восточных языков, известный во всем мире»*.

В 1919 году, в разгар Гражданской войны, Григорий Шилтян бежит из России – бесконечные смены власти и постоянные облавы грозили юноше призывного возраста неминуемой гибелью. Об этом он подробно, и не без присущего ему юмора, пишет в своих мемуарах. Он намеревался достичь Италии, стать профессиональным художником и увидеть все музеи мира.

При этом ему навсегда пришлось оставить семью и родной город. Тревога за близких людей пронизывает последние страницы настоящей книги. Он более не увидит многих родственников, в том числе младшего брата Константина (Котю), которого он, согласно мемуарам, *«невероятно любил»* и который *«обладал исключительными способностями к музыке»*^[1].

[1] Константин Иванович Шилтов, подававший большие надежды молодой композитор, летом 1941 года ушёл в московское ополчение и вскоре пал на поле боя; см. о нём: Лившиц А. Б. Жизнь за Родину свою: очерки о композиторах и музыковедах, погибших в Великую Отечественную войну. М.: Музыка, 1964.

Вполне вероятно, что Г. И. Шилтян всё же имел возможность увидеться с матерью в 1958 и 1983 году во время приезда в Москву, где Акулина Гавриловна Шилтова (1869–1987) проживала с дочерью.

Почему же Григорий бежит именно в Италию? Чувствительного к красоте и к искусству юношу сызмальства тянуло в эту страну: она, по его словам, была его непреходящей «грёзой». В его детскую душу запали слова матери во время их семейного отдыха в Крыму: *«Здесь красиво, как в Италии»*. К отроческим грёзам присоединился культурный багаж – изучение истории европейского искусства, любовь к итальянской музыке.

Путь, согласно его выражению, *«навстречу свету Италии»*, оказался долг и тернист, а его жизнь при этом не раз подвергалась опасности. Удивительная деталь из воспоминаний: беженец положил *«в чемодан в последний момент “Путешествие в Италию” Гёте, во время моих странствий книга должна была меня вдохновлять и утешать»*.

В итоге на Апеннины Шилтян попал только в середине 1920-х годов – через Тифлис, Батум, Крым, Константинополь (1920), а потом Вену (1920–1921), где он учился в Академии изобразительных искусств, Берлин (1922) и Париж (1923–1924).

В 1923 году в Берлине Григорий Шилтян женился на Елене Абрамовне Боберман (он познакомился с ней в Тифлисе) и отправился с ней в свадебное путешествие. Конечно, молодые выбрали для этого Италию, край «грёз».

В мемуарах он пишет: *«С самого первого момента в Риме я почувствовал, что возвращение моё в Германию невозможно. Я готов был к любым жертвам, ибо чутьё подсказывало, что именно этим воздухом мне надо дышать и только эта единственная дорога выведет меня на истинный путь искусства»*.

Несмотря на тяжелейшие условия эмигрантского существования, художник упорно шёл к своей цели и совершенствовал своё мастерство. Он быстро получил признание (его творчество ценили такие маститые критики, как итальянец Роберто Лонги), его персональные выставки в европейских галереях имели успех, его участие в выставках русского искусства (в 1928 году в Брюсселе, где три работы – картина Шилтяна «Обнажённая», мраморная скульптура Гюрджяна «Сиамская кошка» и деревянная скульптура Стеллецкого «Всадник» – были приобретены государством и вошли в собрание Бельгийского национального Королевского музея изящных искусств; и в Копенгагене в 1929 году), а также в крупных художественных выставках западных столиц, всегда было отмечено особо.

Жизнь его продолжала оставаться нелёгкой вплоть до начала 1940-х годов, начиная с которых Шилтян становится признанным в Италии художником. (Пришедшую к нему тогда востребованность иллюстрирует приложение в конце книги, где собраны сведения о его выставках и публикациях).

Тернистость его пути объясняется тем, что он, вне зависимости от общего настроения своего века, всегда отстаивал реализм как главный принцип художественного отражения жизни и считал, что нефигуративное искусство есть порождение общего кризиса культуры.

Его городом в Италии становится «северная столица» страны, Милан. Этот город, промышленный и финансовый локомотив Апеннин, с его кипучей культурной жизнью, вне сомнения, предоставлял художнику намного больше творческого простора, чем в ретроспективных и пассивных Риме или Венеции.

Однако не обошлось и без Вечного города, где художник провёл первый период своей итальянской жизни, о чём он ярко написал в мемуарах: *«Это были последние годы барочного Рима – чопорные кардиналы, процессии монахов в капюшонах, полицейские, шествующие по римским улицам, громогласные и бравые. ... Последние годы доживал романтический Рим Пинелли и Леопольда Робера, Рим Николая Гоголя, Александра Иванова и Овербека. Публика ещё разъезжала в прогулочных колясках, посетители в переполненных трактирах пили свежие вина из Римских замков. Ещё не началась эпоха урбанизации с её треском мотороллеров и автомашин, огнями неона, бензоколонками и похитителями велосипедов. В 1924 году жизнь в Риме ещё текла по-прежнему – чудесно, упоительно, размеренно, как в XVII веке. У меня под рукой были шедевры великих мастеров, которые учили меня видеть природу, ценить красочность и очарование жизни, что бурлила вокруг».*

Позднее, уже признанным художником, Шилтян отдал дань «волшебной Венеции», устроив там, на острове Джудекка, в так называемом Трёхглазом доме, построенном венецианским художником Марио Де Мария, свою мастерскую.

Однако именно в Милане, где Шилтян в общей сложности прожил около тридцати лет (временный переезд в ломбардский городок Морньяга на озере Гарда был связан с разрушением его миланского дома во время Второй мировой войны), имя художника окончательно утвердилось

среди ценителей живописи. Здесь же начался его творческий подъём. Он активно участвует в коллективных художественных выставках, представляя свои великолепные натюрморты, портреты, композиции на мифологические и современные сюжеты.

При этом художник продолжал отстаивать принципы реализма в изобразительном искусстве. Уже после самой первой его персональной выставки (Рим, 1925 г.) критика отметила абсолютную обособленность живописи Шилтяна в современной художественной среде. Уже упомянутый Роберто Лонги отметил, что творческий метод Шилтяна опирается на лучшие достижения великих мастеров прошлого – художников фламандской школы, караваджистов, барбизонцев. Причем его реализм превосходит их своей фотографической точностью отображения натуры.

В Милане, в 1947 году, маэстро активно поддержал инициативу основания группировки «Современные художники-реалисты» и написал для неё манифест. В нём, в частности, говорится: *«В противовес Парижской школе, появившейся во Франции, но отражающей глобальную тенденцию упадка, наше течение, родившееся в Италии, есть выражение надежды на возрождение подлинного искусства, символ начала борьбы за его спасение. ... Мы отказываемся от всей современной живописи, появившейся в период от пост-импрессионизма до наших дней, потому что считаем её порождением эпохи фальшивого прогресса и признаком страшной угрозы, нависшей над человечеством»*^[2].

Основные идеи этого манифеста Григорий Шилтян включил, в расширенном варианте, в свой «Трактат о живописи» (опубликован в 1960-м году, в Милане), где продолжал защищать реализм. В трактате он также анализирует художественные жанры и иллюстрирует приемы живописной техники^[3].

Группа художников-реалистов выступала с регулярными выставками (только с 1947 по 1949 годы их было устроено пять), имевшими успех у публики, но художественная среда откликнулась на это явление, как и на «Трактат о живописи» Шилтяна, лишь краткими публикациями, где участников группы называли «фотографами», «устаревшими ремесленниками», «музейными копировщиками» и награждали другими уничижительными эпитетами.

Став мастером мирового масштаба, Григорий Шилтян заявляет о себе и как талантливый театральный художник, оформив целую серию

[2] Sciltian G. Pittura della realta: estetica e tecnica. Milano: Hoepli, 1956. P. 5.

[3] Sciltian G. Trattato sulla pittura: estetica e tecnica. Milano: Hoepli, 1960.

[4] К сожалению, судьбу этого музея нельзя назвать благополучной: его посчитали не имеющим органического характера для всего комплекса, низвели до статуса коллекции, а картины сняли с экспозиции и отправили в запасники. Об этом подробно рассказал М. Г. Талалай в своем докладе «Григорий Шилтян на вилле Мирабелла: музей, коллекция... а дальше?», озвученного в рамках семинара московского Дома Русского зарубежья «Монографические художественные музеи и собрания в Русском зарубежье: от создания до современности» (15 мая 2024 г.).

[5] Вот координаты ухоженной могилы Шилтянов, для возможных её посетителей: V, 5, 10, tomba № 77.

спектаклей в цитадели оперного искусства — театре Ла Скала. В 1953 году он создает эскизы декораций и костюмов для европейской премьеры оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева, которая с большим успехом прошла на фестивале «Флорентийская весна» в постановке другого «русского итальянца» — Татьяны Павловой.

В последующие годы в сценографии Григория Шилтяна Ла Скала выпускает «Мавру» И. Стравинского (1954), «Колокольчик» Г. Доницетти (1957), «Абу-Гиссана» К. М. Вебера и оперу «Заговорщики, или Домашняя война» Ф. Шуберта (1958).

Миланский дом Григория Шилтяна и его жены Елены с годами превратился в «перекрёсток» русской и итальянской культуры.

В 1983 году осуществилась давняя мечта Григория Ивановича: его работы экспонировались в российской столице (в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). Причем некоторые из представленных на выставке произведений были оставлены художником в дар музею. На Родину он вернулся триумфатором!..

Спустя два года Г. И. Шилтян не стало. Маэстро скончался в 1985 году в Риме, городе где они с супругой жили последние годы. Вдова художника сумела выполнить главные заветы мужа. Благодаря Елене Абрамовне на озере Гарда, недалеко от Милана, в музее-усадьбе Габриэле д'Аннунцио, в специальном выставочном пространстве Вилла Мирабелла был открыт «Museo di Gregorio Sciltian»^[4]. А в 1987 году Е. А. Шилтян преподнесла в дар Третьяковской галерее сепии Карла Брюллова из собрания художника.

К сожалению, после её смерти (1991 г.) остальные заветы художника так и не были выполнены, а средства, им оставленные, в частности — на устройство приюта для бездомных художников при церкви Санта Мария-ин-Трастевере в Риме, были расхищены душеприказчиками покойных супругов.

Супруги похоронены на кладбище Тестаччо, близ античной Аврелиановой стены^[5]...

В 1943 году Шилтян начал писать автобиографическую книгу «Моё приключение» («La mia avventura»). Она вышла в Италии в 1963 году в престижном издательстве «Риццоли».



Григорий Шилтян с женой Еленой в своей римской квартире. 1960-е гг.

Е. А. Шилтян приносит в дар Третьяковской галереи сепии Карла Брюллова из собрания художника

Григорий Шилтян обмолвился как-то в частной беседе, что текст книги писался по-русски, а потом им же самим переводился на итальянский язык. Об оригинале на русском языке, увы, сведений пока нет.

Поиски этого оригинала – одна из причин столь запоздалого прихода мемуаров Г. И. Шилтяна на Родину. У возможных его публикаторов, вне сомнения, мелькала мысль: а что, если этот текст всё-таки найдётся? И мы сами не могли избавиться от подобной мысли. Опасения приобрели ещё более конкретные очертания, когда к нам поступила новость о том, что музей-усадьба Габриэле д'Аннунцио (Vittoriale degli Italiani) получил целый «сундук» рукописей художника. Доступ к «сундуку» удалось получить не сразу, но в итоге оказалось, что русских текстов в нём нет.

В 2009 году в армянском альманахе «Арагаст» («Парус») появились на русском языке первые их фрагменты. Перевод осуществила один из авторов данного предисловия Вардуи Халпахчян^[6].

Для второго же автора предисловия, Михаила Талалая, книга «La mia avventura» стала настольной, так как она давала и даёт ему массу сведений о «Русской Италии». Книга эта послужила подспорьем для

[6] Халпахчян О. В. «Итальянский художник – уроженец Нахичевани-на-Дону Григорий Иванович Шилтян (1900–1985) и его книга «Мои приключения» // Арагаст, № 5, 2009. Также В. О. Халпахчян представила свой доклад о Г. И. Шилтяне на Всероссийской научно-практической конференции «Армяне Юга России: история, культура, общее будущее», проводимой в Ростове-на-Дону в 2012 году.

[7] Вересова Т. В., Талалай М. Г. Человек Ренессанса. Художник Николай Лохов и его окружение. М.: Старая Басманная, 2017.

[8] Халпахчян В. О. Некоторые факты биографии П. П. Муратова, рассказанные художником Г. И. Шилтяном // Материалы научной конференции «Випперовские чтения 2008» в ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва, апрель 2008 (сборник не был опубликован; доклад доступен в эл. версии в Интернете).

[9] Ischia c'era un barbiere-pittore [Luigi De Angelis]. Ricordi del pittore russo Gregorio Sciltian (На Искье жил цирюльник-художник (Луиджи Де Анджелис). Воспоминания русского художника Григория Шилтяна) // Introduzione e commenti di M. Talalay (Публикация, предисловие, комментарии М. Талалай, русская часть при участии В. О. Халпахчян). La Rassegna d'Ischia. Anno XXXVII, № 1 Febbraio-Marzo 2016.

[10] Талалай М. Г. Русский мир Милана. СПб.: ЛИК, 2011. С. 111-112.

[11] Переведены и опубликованы фрагменты из второй части; см. «Мои приключения» Григория Шилтяна // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 2016. М.: Русский путь, 2016. С. 269-298.

написания биографии Шилтяна его другом, реставратором Николаем Лоховым, живущим во Флоренции^[7]. Также эти воспоминания дали обильный материал для реконструкции римского периода жизни известного литератора Павла Муратова, с которым мемуарист был очень близок^[8].

Отрывок из книги получил вторую жизнь на острове Искья, который гордится своим художником-примитивистом Луиджи Де Анджелисом. Оказалось, что этого самородка, открыл, будучи на острове, сам маэстро Шилтян и стал с энтузиазмом пропагандировать его творчество^[9]. Жизненный и творческий путь Г. И. Шилтяна не мог не получить отражение и в книге о русских в Милане^[10].

Решающим моментом в судьбе настоящего издания стало наше «виртуальное» знакомство с ростовчанином, преподавателем Южного Федерального университета Андреем Летовальцевым, знатоком итальянского языка. Пользуясь нашим общим знакомством, другим ростовчанином, Юрием Нечитайловым, нам удалось заинтересовать Андрея Олеговича мемуарным текстом его земляка. В итоге переводчик в блестящей форме и бескорыстно выполнил свой труд, за что мы приносим ему искреннюю благодарность.

Пришло время заметить, что в данный момент мы представляем читателю только первую, «российскую», часть воспоминаний Григория Ивановича, в то время как вторая, «зарубежная», доведённая только до 1942 года (Г. И. Шилтян пишет: «*в автобиографии я останавливаюсь на середине, чтобы перевести дух*»)^[11], ещё ждёт своего часа^[11].

Однако и подготовленный перевод не сразу нашёл себе дорогу к читателю. Долгое время мы безуспешно стучались в двери разных издательств. В итоге текст нашёл самое подходящее место издания – в серии «Жизнь замечательных нахичеванцев», выпускаемой в Ростове-на-Дону в рамках культурных программ РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община».

Михаил Талалай, кандидат исторических наук,
итальянист, эмигрантовед
Вардуи Халпахчян, историк искусства

Слово переводчика

Григорий Иванович Шилтян (20 августа 1900, Нахичевань-на-Дону – 01 апреля 1985, Рим) – российский и итальянский художник армянского происхождения. Его произведения есть во многих музеях Италии и других стран Европы (например, в Музее современного искусства в Париже и в Королевском музее в Брюсселе), но подавляющее большинство его творческого наследия хранится в частных собраниях, поскольку на протяжении десятилетий Шилтян был очень востребованным портретистом (в том числе – официальным портретистом семьи предпоследнего князя Монако Рене III). Шилтян много работал и по заказу Ватикана и для церквей Италии. Кроме того, он был популярным художником театра (опера С. Прокофьева «Война и мир» до сих пор идет в Италии в его декорациях), а также книжным иллюстратором (например, он оформил итальянское издание «Анны Карениной» Л. Н. Толстого). Шилтян – пожалуй, единственный из художников – эмигрантов, чье творчество в Италии расценивается как национальное достояние.

Миланский дом Шилтяна был «русским островком» в Италии, у него останавливались М. Шолохов, С. Бондарчук, Г. Уланова, М. Шагинян. Сведения о творческом пути художника распространены широко, при всём том у себя на родине он известен мало, и одной из целей перевода автобиографической книги было ближе познакомиться российского и, в частности, ростовского читателя с одним из своих многочисленных выдающихся земляков. Также в ней содержатся интереснейшие факты о нахичеванском и ростовском быте начала XX века. Заслуживает внимания и описание событий гражданской войны на юге России – в районе самых жестоких столкновений, а подробности могут стать открытиями для историков и краеведов. Стоит упомянуть, что Шилтян был знаком с М. Горьким, П. Муратовым, большим количеством своих коллег по художественному цеху, и читателю могут быть интересны воспоминания о многих известных личностях, не всегда лицеприятные.

Поскольку приходилось совмещать переводческую деятельность с редакционной, необходимо отметить, что гораздо больше времени и труда занял поиск дополнительной информации, приведённой в сносках в качестве комментария. Работа осложнялась тем, что, как оказалось, большинство фамилий автор передаёт с сильным искажением, что очень

[12] Марианна Ивановна Шилтова (1904 – 1967), сестра художника, преподавала литературу в Московском библиотечном техникуме, библиограф, пушкиновед. Внесла особенно большой вклад в создание музыкальной картотеки Государственного музея А. С. Пушкина.

затрудняло поиск сведений. Возможно, из-за большой давности событий (спустя тридцать лет), возможно слуховая память художника намного уступала зрительной (искусствоведы отмечают фотографическую точность его картин). Также имеются некоторые разночтения в хронологии и топонимах. Нами решено было оставить в тексте авторскую орфографию, а исправления привести в сносках. В связи с этим хотелось бы выразить благодарность Юрию Нечитайлову за ценные замечания, Михаилу Талалаю за идею публикации и предоставленный оригинал, а также всем, кому была интересна эта работа.

В качестве иллюстраций использованы не только фотографии из архива автора, помещённые в его книге, но и некоторые современные и найденные в сетевых источниках. Работа над книгой продолжается. Так недавно были обнаружены сведения о Юрии Хельмере, которого Г. И. Шилтян упоминает в своих воспоминаниях, сестре художника Марианны (Маруси)^[12], а также о месте захоронения его родственников в Москве в армянской части Ваганьковского кладбища.

Свои воспоминания Г. И. Шилтян начал писать в середине 1950-х годов. Писал на русском языке, сам же потом переводил на итальянский. Книга под названием «Моё приключение» (мы настаиваем на единственном числе, как «приключение длиною в жизнь») вышла в издательстве Риццоли в 1963 году и отечественному читателю она практически недоступна, а русскоязычный оригинал оказался утрачен. Тем не менее мы решились на обратный перевод, понимая, что полного совпадения добиться невозможно. К сожалению, в нашем распоряжении не оказалось ни одного русскоязычного текста, написанного Шилтяном, никаких аудио- и видеодокументов, из которых можно было бы получить представление о характере его языка, о манере изложения, о стиле речи и так далее. Мы постарались не сильно «олитературивать» текст, но создать образ стойкого, мудрого человека, способного на склоне лет вспоминать трагические события с теплотой и юмором. Насколько хорошо это получилось – судить читателю.

*Андрей ЛЕТОВАЛЬЦЕВ,
Ростов-на-Дону, май 2025 года*



Григорий Шилтян
у своей картины
«Вечная иллюзия»

Обложка книги
Григория Шилтяна
«Моё приключение»
(«La mia avventura»)
Издательство «Риццоли»,
Милан (Италия). 1963 г.

Gregorio Sciltian

Mia avventura

Rizzoli

Вступление

С тех пор как ещё ребенком я решил посвятить свою жизнь живописи, я составил для себя программу действий. Я вознамерился создать ряд картин и композиций, уже мысленно хорошо представляемых, а также написать автобиографию.

Конечно, планы мои были амбициозны, но разве амбиция – не есть достоинство? Не оно ли движет всеми людскими деяниями? Блестящие примеры Челлини, Альфьери, Вагнера, Делакруа, Толстого научили меня, сколь важны и интересны тексты, раскрывающие пленительную тайну творчества.

Признаться, увы, пока не могу сказать, что в живописи мне удалось полностью реализовать задуманную программу. Чувствую себя как на полпути, как человек, который, собравшись с силами, готовится к самому длинному и решительному броску. Так и в моей автобиографии я остановился на середине, дабы перевести дух.

Посвящённая осуществлению задуманного, моя жизнь, однако, была окрашена или, скорее, затемнена и затруднена событиями грозными и гигантскими, имевшими огромное историческое значение для всего духовного мироустройства, а в первую очередь – для искусства.

И ради этого, так как я сам был вовлечён в эти события, и более того – был при них деятельным свидетелем, надеюсь, что читателя заинтересует моё повествование.

*Григорий ШИЛТЯН
Джудекка, Венеция,
сентябрь 1962 г.*

Часть первая

Моей матери

Родился я в Ростове-на-Дону, городе на юге России, который не только являлся железнодорожным узлом большой важности, но и обладал процветающим речным портом, откуда за границу вывозилось зерно из Украины, Кавказа и Придонья. Название этого города в Европе не очень было известно, но в 1942 году оно неожиданно появилось во всех мировых газетах, потому что немцы здесь потерпели первое поражение (на самом деле первое освобождение Ростова произошло в ноябре 1941 года. – *Ред.*). Помню в точности, как сообщала немецкая пресса: *«Наши войска были вынуждены покинуть Ростов, так как внезапно, ночью, вопреки законам войны население этого города нанесло им удар в спину. Мы оставили город, но возмездие будет суровым»*. Газеты стран Оси¹ комментировали это поражение такими словами: *«Население Ростова – смешение народов плохо управляемых, от которых не приходится ожидать ничего хорошего»*. Столь нелестный отзыв не должен, однако, обескуражить читателя: сейчас я представляю мой родной город со всей объективностью.



11. Ростов »/Д. Большая Садовая улица.

Город возник к началу девятнадцатого века в окрестностях Свято-Димитриевской крепости, оплота Российской империи в войне с турками, в устье Дона, широкой и величественной реки, в том самом месте, где когда-то стояла греческая колония Танаис, самая передовая точка на севере эллинской цивилизации. Действительно, в городском музее сохранились остатки этого периода – амфоры, головы античных скульптур и фрагменты колонн, ностальгические воспоминания о блистательном классическом мире, поразившем меня с самого детства. В мои времена это уже был совсем новый город, вправду населённый смесью народов, придавшей ему весёлый, ликующий и буйный облик. Кроме русского населения, корнями своими казацкого и украинского происхождения, в Ростове проживало много армян, грузин, евреев, поляков, греков, турок и изрядная колония выходцев из Западной Европы – немцев, французов и итальянцев. В огромном речном порту на судах, развозящих зерно по всему миру, развевались самые разнообразные флаги.

¹ Бытовавший термин «ось» (Берлин – Рим – Токио) подразумевал военный союз Германии, Италии и Японии.

Планировка города была прямоугольной и практичной: его пересекала главная улица, Большая Садовая. Здесь рядом с большими многоэтажными дворцами стояли и маленькие домики с покатыми железными крышами, типичные для российского юга. Широкие тенистые улицы были усажены акациями, весной пропитывающими воздух своим ароматом. На главной улице, очень шумной и многолюдной, располагались большие кинотеатры, галантерейные магазины и кафе по типу парижских, или точнее – марсельских, с открытыми террасами; попадались также небольшие кавказские харчевни.

Это был город контрастов, где запад смешивался с востоком, север с югом.

Даже климат сочетал различные элементы: зимой приходил холодный ветер из азиатских степей; летом – зной и голубое небо, ночью усыпанное сверкающими звёздами, как в странах Средиземноморья. Долгими и тёплыми летними вечерами по Большой Садовой прохаживалась красочная толпа: мужчины в белых брюках, панамах и канотье, красивые девушки, одетые по парижской моде в ажурные чулки, моряки черноморского флота, черкесы в национальных костюмах, турки в фесках, простые люди всякого рода и племени. На террасах в кафе сидели торговцы – евреи, греки и армяне, элегантные кокотки, в то время как из кавказских кабаков выводили пьяных, которые кричали, приставая к прохожим.

Имелось также несколько городских скверов, где в летнее время можно было послушать великолепные симфонические концерты с солистами и крупными дирижёрами, такими как Кусевицкий², Цимбалист³, Хейфец⁴, Рубинштейн⁵, кому впоследствии суждено было достичь мирового успеха. В других играли румынские оркестры, собиравшие публику менее взыскательную, бросавшую в головы музыкантам пустые бутылки, выражая недовольство исполнением не нравящихся ей произведений.

«Одесса – мама, Ростов – папа» – так утверждает южнорусская поговорка.

На мой взгляд Ростов отнюдь не блистал красотой: Одесса была лучше; но первый обладал своим особым стилем. Те, кто поскромнее, называли его маленькой Одессой, более самонадеянные утверждали, что это маленький Париж. Также и мне, с самого детства навсегда влюбленному в западные города, хотелось выяснить, что парижское можно обнаружить в Ростове. По-



² Сергей Александрович Кусевицкий (1874–1951) – русский и американский контрабасист, дирижёр и композитор.

³ Ефрем Александрович (Аронович) Цимбалист (1889–1985) – российский и американский скрипач, композитор и педагог, уроженец Ростова-на-Дону.

⁴ Хейфец Яша, полное имя Иосиф Рувимович Хейфец (1901–1987) – американский скрипач еврейского происхождения. Считается одним из величайших скрипачей XX века.

⁵ Артур Рубинштейн (1887–1982) – польский и американский пианист-виртуоз.

Возможно, такой вид открывался глазам юного Гриши Шилтяна (тогда ещё Шилтова), но какой именно дом привлекал его внимание — здание городской думы (слева) или дом Генч-Оглуева (оба выстроены по проектам архитектора А. Н. Померанцева), предоставляем решать читателю.

(Здесь и далее — примечания переводчика, если не указано иное).



сле долгих и кропотливых исследований я, наконец, нашел место, где можно было бы представить, что находишься на бульваре Сен-Мишель.

Это было особое место, известное только мне. Возле лимонадной лавки на Николаевской⁶ улице я прислонял голову к акации и смотрел совершенно прямо, не двигая головой вправо или влево: только так было видно большое многоэтажное здание витиеватого стиля, как было модно тогда в Западной Европе, и кафе со столиками на открытой террасе среди зелени великолепных акаций. Но ещё было нужно улучшить подходящий момент, когда не проезжал никакой извозчик, или чтобы пейзаж не нарушал никакой бородатый мужик в фуражке и сапогах. Я держал голову неподвижно, чтобы не видеть маленьких домишек ни справа, ни слева, а моим жадным глазам открывалось несомненное очарование бульвара Сен-Мишель.

Мой отец был одним из лучших ростовских адвокатов; мама принадлежала к богатой семье промышленников-армян⁷; оба выходцы из Нахичевани, города в семьдесят тысяч жителей⁸, расположенного рядом с Ростовом, с которым она фактически слилась в единое целое. Его население состояло из армян, почти как в самостоятельной республике. В XVIII веке, в войне против Турции за обладание Крымом, армяне в силу их пылкой христианской веры союзничали с Россией, официально помогая князю Потёмкину в завоевании полуострова. Екатерина Великая в благодарность за оказанную помощь даровала им право основать целый город в устье Дона, им и стала Нахичевань, где администрация, градоначальство, образование и законодательство определялись армянами.

Нахичевань была безупречно чистой, с маленькими особняками, красивым театром, большим бронзовым памятником императрице Екатерине.

⁶ Если автор не ошибается, то сейчас это переулок Семашко, если же Никольская, то улица Социалистическая.

⁷ Мелконовы-Езековы.

⁸ Преувеличение. К началу XX в. население Нахичевани насчитывало немногим более тридцати тысяч.



Во время революции памятник снесли и бросили в саду, где в скором времени он зарос травой и стал пристанищем ящериц, гревшихся под солнцем на большом лице императрицы. Имелось семь армянских церквей и кладбище с высокими кипарисами – первое в русской степи свидетельство близости к Средиземноморью. В кофейнях на восточный манер сидели старые армяне с огромными крючковатыми носами и крутыми бровями, потягивая турецкий кофе и играя в шахматы; на стенах висели литографии картин Айвазовского с видами Константинополя и Босфора.

Мой дед по отцовской линии прибыл в Нахичевань из Турции в 1820 году, и был знаменит тем, что в этом городе стал первым носить перчатки. Отец, осиротев в очень юном возрасте, был отправлен в знаменитое училище князя Лазарева в Москве, где также находился известный во всем мире Институт восточных языков. Здесь получали образование будущие дипломаты и учёные. Отец, по бедности, конечно же дипломатическую карьеру начать не мог; тогда он поступил на юридический факультет московского университета.

Получив диплом, он поселился в родном городе и занялся адвокатской практикой; впоследствии он стал нотариусом. Тишайшего характера, известный своей добротой, честностью, нравственностью, он считался одним из поистине заслуженных граждан города. Человек энциклопедической культуры, он был также любителем музыки и играл на скрипке. Ему и его библиотеке я обязан своими первыми впечатлениями, истоками моей любви к искусству.

Семья моей матери, напротив, была довольно богата; промышленники в нескольких поколениях, занимавшиеся обработкой шерсти, они



Григорий Шилтов с отцом и матерью. Нахичевань-на-Дону, 1901 г.



Г. Шилтов с отцом

владели целым островом на Дону с фабрикой из трёх тысяч рабочих⁹, основанной моим прадедом. В этой семье было принято отправлять своих детей за границу совершенствоваться в коммерческих науках. Трое моих дядьёв по материнской линии жили в Лондоне, в Бремене и Вене. Мама и её сёстры получили образование в Москве в знаменитом французском коллеже Де Мушель¹⁰.

Дедушки не было в живых, когда я родился, главой семейства была бабушка.

В её доме, насчитывающем более тридцати комнат, для участия в торжествах собирались кроме членов большой семьи многочисленные гости. Он считался самым богатым и гостеприимным домом в городе, приёмы здесь давались сказочные. Даже патриарх всех армян, католикос Измирлян¹¹, по возвращении из Петербурга, куда он отправился для представления царю, останавливался у бабушки в течение нескольких дней. С балкона дома он обратился с большой речью к восхищённой толпе, и я очень хорошо помню этого старика с длинной белой бородой, который вышел говорить с народом, опираясь на мое плечо. Я был тогда шестилетним ребёнком¹².

Дом бабушки представлял собой двухэтажное здание, довольно длинное, выходившее фасадом на площадь прямо перед городским театром¹³. У него имелось два входа, один для особых случаев, другой для повседневной жизни. В большом белом зале с лоджией для музыкантов стояла мебель неопределённого стиля, смахивающего на «Людовик XVI», в белом и золотом. Громадные настенные зеркала в золочёных рамах, белый концертный рояль, диваны и атласные кресла создавали эффект роскошной театральной декорации. Рядом с залом находилась зелёная гостиная с мебелью в стиле «Второй Ампи́р». На стенах из зелёного атласа здесь висело несколько картин: одна из них – «Буря» Айвазовского, обрамлённая тяжёлым багетом, и другие, швейцарских и немецких художников. Среди них была «Мельница в Альпах» некоего Мюллера, и она поразила меня дотошностью мазков – можно было пересчитать отдельные листья на деревьях. Дальше находилась розовая гостиная с горками для посуды, заполненными драгоценным фарфором и статуэтками, кабинет деда с облицованными деревом стенами и множеством книг в великолепных переплётах, салон тёти Маргариты с сувенирами из её поездок в Интерлакен и Люцерн. Это жилище обладало своим особым за-

⁹ Здесь Шилтян ошибается дважды – фабрика находилась не на острове, а на левом берегу Дона, и количество работников было на порядок меньше.

¹⁰ Скорее всего имеется в виду пансион Дюмушель – одно из лучших частных женских учебных заведений в Москве.

¹¹ Маттеос II Измирлян (1845–1910) – Католикос всех армян в 1908–1910 гг.

¹² Описанные события происходили в 1909 г., т. е. автору на самом деле было 9 лет.

¹³ Находился на углу Бульварной площади и 25-й линии. Здание не сохранилось.



Доходный дом деда Г. И. Шилтяна Гавриила Артемьевича Мелконова-Езекова (справа). Долгие годы здание считалось одним из самых красивых в Ростове-на-Дону. Оно было построено в конце XIX века и достроено в начале XX века. Последними его владельцами были наследники Г. А. Мелконова-Езекова по мужской линии – Арутюн, Аракел (Езекиель) и Михаил (Микаэль).

пахом, ароматом дома богатого буржуа девятнадцатого века, из романов Мопассана и Золя. Это была терпкая смесь сигарного дыма, пыли из персидских ковров, дерева, покрывавшего стены, духов «Кёр де Жанетт» от Герлена, которыми так часто тогда пользовались. Здесь устраивались большие празднества, их я помню и по сей день как символ спокойной и безмятежной жизни, какую уже вряд ли кто сможет познать. Я постараюсь дать какое-то представление, но надо владеть пером Гоголя для того, чтобы передать всё её разнообразие и великолепие.

Около десяти часов вечера прибывали многочисленные гости на санях, управляемых величественными бородатыми кучерами в вышитых ливреях на тёплой подстёжке. Летом они, естественно, приезжали в экипажах. В роскошно освещённом парадном расстилали красную дорожку, доходившую до самой улицы.

Дамы, одетые в шёлковые и атласные длинные платья, а мужчины – во фраки, сразу же заходили в столовую, где на большом столе был подготовлен чай в серебряном самоваре, фарфоровые чашки заводов Гарднера и Попова, золотые точёные ложки и бесчисленные сладости. Затем мужчины проходили в разные залы играть в преферанс, в то время



Дед и бабушка Г. Шилтяна Гавриил Артемьевич и Шушаник Багдасаровна Мелконовы-Езековы

как дамы собирались в зелёной гостиной, чтобы поговорить о моде и поделиться городскими сплетнями. К ним присоединялись также некоторые военные и полицмейстер.

Около полуночи открывались двери розовой гостиной: в середине стоял стол в форме подковы, уставленный серебряными блюдами со знаменитыми закусками: балык – рыба янтарного цвета, копчёная до прозрачного состояния, нежнейшие ломтики лосося, салаты с креветками и курицей, солёная рыба, ветчина, паштеты, печёночные пироги, и снова донская и волжская копчёная рыба, заканчивая обыкновенным рыбцом, простой донской рыбкой, но такого незабываемого вкуса, ценимого истинными гурманами; затем неисчислимое количество грибов, огурцов, солёных арбузов и мочёных яблок. Но везде в изобилии находилась икра в больших серебряных вазах – свежая, слабосолёная зернистая и паюсная. Эти закуски, как горячие, так и холодные, разбирались «а-ля фуршет», то есть каждый гость, стоя, сам накладывал себе на тарелочку то, что ему нравилось. На столе сияли многочисленные бутылки различных сортов водки и коньяка, по русской традиции их пили в качестве аперитива.

Сперва входили только дамы. Деликатно, чтобы не испачкать длинные белые перчатки, они пробовали всего понемногу, водку не пили, для дам это считалось слишком вульгарным; выпивали немного белого вина. Будучи ребёнком, я всегда шёл с женщинами, которые, не прекращая есть, разговаривая и смеясь, выходили из зала, сопровождаемые шорохом красивых платьев из атласа и бархата, и оставляли за собой свой изысканный аромат. Потом заходили мужчины, и атака на закуски начиналась в полную силу. Водка и коньяк текли рекой. Когда большинство гостей мужского пола достигали состояния эйфории, открывались двери столовой, и официант объявлял, что ужин подан.

Несколько столов были застелены кружевными скатертями из Брюгге и уставлены тяжёлой серебряной посудой. Все гости весело искали свои места, указанные на карточках рядом с каждым столовым прибором. В особых случаях гостевую карточку сопровождал и подарочный сюрприз.

Между тем из гостиной доносились первые ноты – музыканты настраивали инструменты. Когда все гости рассаживались, входили официанты с большими тарелками холодной рыбы, украшенной майонезом в



«Зелёная» гостиная в доме бабушки Г. Шилтяна в Нахичевани-на-Дону на 25-й линии.

Именно в этом доме был устроен нахичеванской знатью торжественный приём Католикоса всех армян Маттеоса II Измирляна, посетившего город в 1909 году.



«Розовая» гостиная тёти Маргариты, там же. В проёме видна столовая.

виде затейливых фигур, настоящие произведения искусства, созданные руками старого повара Иваныча.

За этим блюдом из розовой сочной осетрины следовали горячий бульон и пирожки (с мясным фаршем), затем различные первые блюда, дичь, куры, некоторые новинки текущего сезона, такие как спаржа или артишоки зимой. Прибытие каждого блюда встречалось аплодисментами в адрес бабушки. Следовало жаркое. Отдельно, для небольшой группы гурманов, готовился шашлык¹⁴, однако потом его хотели попробовать все и вставали, чтобы идти его искать, таким образом застолье оживлялось. На десерт приносили пломбир, вид кассаты¹⁵, который подавали даже зимой. Подавались белые и красные вина, французские, крымские, абрау-дюрсинские, но уже к жаркому начинали откупоривать бутылки с шампанским.

В самом начале (под рыбу с майонезом) звучала музыка серьёзная, например, увертюры Франца фон Зуппе¹⁶ «Утро, день и вечер в Вене» или «Поэт и крестьянин», романсы Денца¹⁷ или «Валахская легенда» Брага¹⁸. По ходу обеда она становилась веселее: под жаркое можно было услышать ноты «Цыганского барона» или «Графа Люксембурга», ближе к сладкому разыгрывались дьявольски весёлые матчиш и кек-уок¹⁹, уже вошедшие в парижскую моду. Многие кавалеры не могли устоять и вовлекали своих дам в вихрь вальсов Штрауса и Вальдтейфеля²⁰. Мой дядя Езекиель, носивший пышные чёрные усы, из-за которых его называли Бель-Ами²¹, размахивал фалдами своего фрака, как ласточка крыльями. Под звуки самой весёлой музыки и хлопанье пробок шампанского все оставляли свои столики и начинали танцевать. На пике общего веселья все требовали специальный номер, и тогда дядя Езекиель или какие-нибудь кавалерийские офицеры под бурные аплодисменты присутствующих исполняли известный кавказский танец лезгинку.

Празднество растягивалось до рассвета. Красавицы в своих длинных платьях танцевали, словно бабочки, а пока весёлая толпа развлекалась, дверь салона, где стояли столики с закусками оставалась всё время открытой и люди «серьёзные», не желавшие танцевать, продолжали заправляться, чередуя водку и коньяк.

К утру гости начинали расходиться по домам, но самые кутилы, многие уже вдрызг пьяные, не хотели успокаиваться. Таким образом собиралась компания, которая уезжала в нескольких каретах, направляясь в ресторан,



Дядя Езекиель

¹⁴ Баранина на шпажке, кавказское блюдо (Прим. авт.).

¹⁵ Итальянское сладкое блюдо, в Неаполе означает вид мороженого с леденцами, цукатами и орехами.

¹⁶ Франц фон Зуппе (1819–1895) – австрийский композитор и дирижёр, один из создателей венской оперетты.

¹⁷ Луиджи Денца (1846–1922) – итальянский композитор.

¹⁸ Газзано Брага (1829–1907) – итальянский композитор и виолончелист.

¹⁹ Матчиш – бразильский парный танец, кек-уок – негритянский танец, вошли в моду в начале XX в.

²⁰ Эмиль Вальдтейфель (1837–1915) – французский композитор, дирижёр и пианист.

²¹ Прозвище героя романа Ги де Мопассана «Милый друг», Жоржа Дюруа.

чтобы послушать цыган и поесть капусту и солёных арбузов, продуктов, рекомендуемых при похмелье. Зимой они ехали в ресторан под названием «Марс», а летом отправлялись в другой, загородный, именуемый «Армянский Сад»²². Для этой компании праздник продолжался до самого полудня, и помню, как, возвращаясь из школы, иногда встречал вереницу извозчиков, везущих бледных персонажей в измятых фраках, без галстуков, с опухшими лицами, некоторые бесцеремонно плевали на улице.

Такие были тогда праздники. Наверное, сегодня ни один современный желудок не смог бы этого вынести.

Как многие члены нашей семьи, бабушка на лето выезжала за границу. Обычно она ехала в Австрию – в Карлсбад или Мариенбад, после чего направлялась в Швейцарию, останавливаясь в Интерлакене или Давосе, где жила моя кузина, болевшая туберкулёзом. На обратном пути она заезжала в Вену и возвращалась домой через Волочиск, городок на русско-австрийской границе. Из всех этих мест бабушка, тётушки и кузины присылали мне многочисленные открытки с видами разных городов и привозили игрушки, купленные в Нюрнберге²³.

Меня завораживали длинные цветные открытки, сделанные в виде гармошки с видами швейцарских озёр и альбом с фотографиями Вены. Так всё моё детство было наполнено европейскими сувенирами, а после рассказов близких о Европе я с самых малых лет чувствовал, как рождается во мне огромное и смутное желание увидеть воочию эти страны, явленные мне через краски открыток, с их голубыми озёрами, высокими горами с волшебными именами Юнгфрау или Монблан, колесом обозрения в парке Пратер²⁴, Рю Риволи, Мостом вздохов и Дворцом Дожей²⁵, как мир грёз и сказок, которого жаждала достичь моя беспокойная душа.

Мои воспоминания, как, наверное, случается с каждым ребёнком эпохи бурь и потрясений, пронизаны беспокойством и страхом, и среди них особенное место занимает жуткий погром первой русской революции 1905 года. Помнится, как я, несмотря на запрет родителей, вместе с няней прилипал к окну, наблюдая за улицей, прежде пустынной, а теперь неожиданно запруженной одетыми в лохмотья и вооружёнными длинными палками дебоширами со свирепыми лицами. Выкрикивая непонятные слова, они вдруг начали громить палками витрины магазинов, которые

²² На самом деле «Марс» – театр-варьете, «Армянский сад» – парк в дачном районе на северной окраине Нахичевани, любимое место отдыха нахичеванцев, но не рестораны в буквальном смысле.

²³ Знаменитые игрушки ручной работы из дерева или металла, многие имеют заводной механизм.

²⁴ Большой парк в Вене, известный своими аттракционами, в частности гигантским колесом обозрения.

²⁵ Рю Риволи – улица в Париже, продолжение Елисейских полей; Мост вздохов и Дворец Дожей – достопримечательности Венеции.

разбивались с особенным звоном. Затем внезапно улицу заполнили мужские шляпы, летевшие в разные стороны и закрывшие собой небо, словно необычный дождь: в нашем доме находился магазин одного еврея, Энзелевича, лучшего шляпника в городе. Потом то же самое произошло с галантерейным магазином, на улице возникло облако из лент и кружев и посыпался дождь из пуговиц, разноцветных ниток и чулок. Крича всё громче, толпа боролась за обладание как можно большим количеством товаров, заполняя карманы всем подряд, напяливая на голову по три или четыре шляпы и наматывая чулки на шею.

В городе стреляли, несколько револьверных выстрелов раздались даже перед нашим домом, поэтому маме пришлось силой отрывать меня от окна.

Небо трагически краснело от пожаров; никто не выходил из дома. В одной из комнат нашей квартиры плакал еврей Айбиндер²⁶, портной моего отца, а с ним была вся его семья, укрывавшаяся у нас в течение нескольких дней. Никто не спал. Отцу приходилось оставаться на всю ночь в парадном с освещённой иконой, показывая тем самым, что дом не принадлежал евреям. Отец был либералом. У нас собирались его благонамеренные друзья, чтобы обсудить события и обменяться революционными газетами с наводящими ужас карикатурами на красном фоне, которые до сих пор сохранились в моей памяти.

Революция 1905 года ударила по России неслыханным насилием. Казаки обстреливали повстанцев и рабочих. По окраинам устрашающе раскачивались повешенные. Бушевали пожары и всё вокруг, даже человеческие лица, имело зловещий вид.

Но всё миновало и жизнь, на взгляд, возобновила мирное течение.

Однако печальные воспоминания и приметы глубокого перелома оставались повсюду. Однажды мы были в гостях у бабушки в Нахичевани, и когда возвращались домой в коляске поздним вечером, в сумерках, уже превращающихся в ночную тьму, послышался странный шум. Мама закрыла мне глаза ладонью и прошептала: *«Не смотри, ссыльные идут»*. И темнота ночи расступилась перед мерцающими огнями факелов, а тишина была нарушена звоном цепей и кандалов. Те люди шли медленно, бледные, в изорванной одежде. Впереди них на лошади ехал казачий офицер с шашкой наголо. Кругом были казаки с зажжёнными факелами и винтовками, угрожающе нацеленными на узников.

²⁶ Правильно Айнбиндер
Н. М.



Вид переулка Николаевского, на котором располагался дом, где жила семья адвоката И. Г. Шилтова

А позади – нескончаемый ряд повозок с имуществом, и женщины с детьми, присоединившиеся к этой печальной процессии для долгого путешествия в Сибирь.

По сравнению с родственниками наше жилище выглядело весьма скромно. У нас было шесть комнат. В гостиной, обставленной венской мебелью, висела большая гелиография²⁷ Альма-Тадемы²⁸. В отцовском кабинете находилась огромная библиотека, восхищавшая меня прекрасно иллюстрированными и великолепно переплетёнными книгами; мой мир грёз заполняли произведения Шекспира и Шиллера; большой красочный альбом с репродукциями картин из европейских художественных галерей настолько привлекал меня, что я по памяти узнавал различных авторов. Моя комната была переполнена игрушками, её окно выходило в маленький и уютный дворик.

В нашем доме кроме магазинов головных уборов и галантереи был ещё один, из тех, что составляют мечту каждого ребёнка – магазин игрушек. Дважды в год его владелец выставлял все товары во дворе для чистки, а я из своего окна, словно из театральной ложи, с восторгом наблюдал за замечательным представлением. Тесное пространство вдруг заполнялось лошадками всех размеров, куклами от малюсеньких до высоченных, полчищами медведей, множеством велосипедиков. Мне разрешали спускаться в этот маленький Эдем и забираться на все деревянные лошадки, ласкать самых красивых кукол; возвращаясь домой, я всегда уносил с собой что-нибудь, что получал в подарок от родителей.

Ещё в детстве я занялся рисованием, и это было моим лучшим развлечением. Мама и тётя Мария вечерами читали мне замечательные сказки Андерсена, и я вслед за рассказом рисовал иллюстрации к повествуемому.

Помню, как однажды мама читала мне сказку Гоголя «Вий», в которой рассказывается о покойнице, восставшей из гроба, а я, как всегда, иллюстрировал сюжет. Когда я закончил и посмотрел на свой рисунок, впечатление от него заставило меня вскрикнуть от испуга.

Летом, как правило, мы уезжали, чтобы провести каникулы в Крыму или на Кавказе. Вершиной всех моих зимних мечтаний была поездка в Крым, особенно привлекательная: отправляясь на пароходе из Ростова и прибывая в Ялту, мы заходили во все порты Азовского моря.

²⁷ Гелиография – один из способов гравюрной печати, с применением фотографических процессов.

²⁸ Сэр Лоуренс Альма-Тадема (1836–1912) – британский художник нидерландского происхождения.

Подготовка к каникулам начиналась почти за месяц до отъезда. Я считал дни и вечера, не мог заснуть, слишком возбуждённый самой идеей этого путешествия, обязательным моряцким костюмчиком (я потребовал настоящую бескозырку флота Российской империи, на ленте которой была надпись «Морские путешествия»), а также корабliками, ведёрками для песка, мячами и прочим, что купят мне родители.

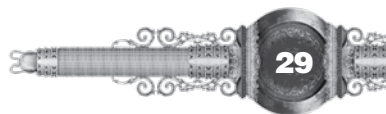
Долгожданный день настал. Мы выехали в экипаже, загруженном чемоданами и игрушками, который медленно спускался по улице до самого порта; и когда вдаль показался чёрный силуэт парохода с дымящей трубой, мои радость и восторг дошли до исступления.

Мы разместились на нём в очень удобных каютах, и я обследовал все их уголки. Папа остался на причале; одетый в белое, он долго махал панамой, в то время как мама, няня, брат с сестрой и я махали платками в ответном прощании, пока за горизонтом не исчезли купола ростовских церквей.

Ближе к вечеру мы причалили в Таганроге, на берегу Азовского моря, на родине Чехова. Поскольку корабль стоял несколько часов в каждом порту, всякий раз мама нанимала экипаж, чтобы повезти меня в городской сад и поесть там мороженого. Таганрог был городком очень красивым и чистым, с маленькими домиками, скверами и несколькими зданиями в неоклассическом стиле времён Александра I.

На рассвете следующего дня мы добрались до Мариуполя, ещё одного порта на Азовском море. Этот город был противоположностью Таганрогу. Городишко почти варварский и простецкий, он походил на цветастую и размалёванную половецкую деревню. На набережной, на фоне гор из арбузов и дынь, желтеющих на солнце, возбуждённо кричала толпа грузчиков с голыми загорелыми торсами. Вечером мы были в Бердянске, другом городке на побережье того же серовато-зелёного моря, он мне не очень понравился, а потому я с нетерпением ожидал, когда же мы доберёмся до Керчи, что и состоялось ночью.

На следующий день мы проснулись в Керчи, и перед нашими удивлёнными глазами предстала совершенно иная картина. После однообразия Азовского моря, мы восторгались открывшимся нашему взору средиземноморским пейзажем, с его горами, берегами, индиговыми водами Чёрного моря. Город Керчь, расположенный на склонах горы Митридата²⁹ (в честь которого был возведён на вершине храм, чьи руины виднелись)



Парадная дома Шилтовых



Дом Шилтовых сегодня.
Старый адрес:
пер. Николаевский
(пер. Семашко), 43.
Спустя столетие ещё
существует галантерейный
магазин. Шляпный магазин
Ф. М. Энзелевича распо-
лагался со стороны
ул. Дмитриевской
(ныне ул. Шаумяна)

²⁹ Митридат VI Евпатор — понтийский царь, правивший Боспорским царством в 120–63 гг. до н. э.

³⁰ Блинчики с рубленым мясом (Прим. автора).

³¹ «Фонтан Айвазовского» — не ресторан, это водоразборное сооружение в Феодосии, подаренное И. Айвазовским в 1888 году родному городу, страдавшему от недостатка воды. Снабжалось водой из источников, находящихся в поместье художника. Сооружение вскоре стало центром рекреационной парковой зоны и рядом с ним возникли чебуречные, шашлычные и кафе.

³² Джачинто Джиганте (1806–1876) — итальянский художник, пейзажист «школы Позилиппо».

³³ Клод Лоррен (1600–1682) — французский живописец и гравёр, один из величайших мастеров классического пейзажа.

³⁴ Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер (1775–1851) — британский живописец, мастер романтического пейзажа.

³⁵ Картины с таким названием нет. Скорее всего автор имел в виду картину «Прощание Пушкина с морем», в действительности заказанную обоим художникам как совместную работу к 50-летию со дня гибели поэта. Возможно также, что он путает её с картиной «Пушкин в Крыму у Гурзуфских скал».

имел облик типично средиземноморский, каким схожи между собой восточные города. В глаза бросались мужчины в фесках, играющие в маленьких кафе в шахматы или кости, и множество моряков.

Судно снова отчалило в сопровождении косяка веселящихся дельфинов, легко разрезающих воды насыщенного индигового цвета, будто настоящие средиземноморские.

Вечером мы достигли Феодосии, которая после Севастополя, наверное, является самым красивым городом в Крыму. В повозке мы поехали поесть чебуреки³⁰, типичное блюдо этих краёв, в ресторан с названием «Фонтан Айвазовского»³¹, в честь великого художника, уроженца этого города. Айвазовский, хоть и армянин, настолько был известен в России, что его имя стало синонимом слова «художник». Прославленный маринист, он был столь плодовит, что оставил после себя, как говорят, более пяти тысяч полотен. Его особенно ценил царь и его картины продавались так дорого, что позволило ему обустроить большую часть города.

Целью нашего посещения также был музей произведений Айвазовского. Среди множества полотен мне особенно понравились картины его раннего периода, когда он жил в Неаполе, учась у Джачинто Джиганте³², за гладкую живопись, аккуратный рисунок, искусство светотени, стоящее в одном ряду с Клодом Лорреном³³ и Тёрнером³⁴. Известно, что Айвазовский людей рисовать не умел: в действительности на картине «Сон Пушкина» фигура на фоне Гурзуфского залива была дорисована Репиным³⁵.

На следующий день мы прибыли в Ялту, последний этап нашего путешествия, элегантный и знаменитый город с большими гостиницами, особняками, магазинами. Мы остановились сделать обычные дорожные покупки, а потом, в экипаже, через улицы и виноградники, поехали в Гурзуф, где посреди платановых и кедровых рощ стояли другие особняки и гостиницы.

Мы провели наши каникулы здесь, потому что врачи предписали мне, страдающему от пневмонии, осложнённой бронхитом, целебный крымский воздух. Мама не хотела, чтобы я увлекался беготнёй: она всегда водила меня на холм, в тень кипарисов и олеандров, и читала мне некоторые увлекательные романы Жюль Верна, Диккенса и Вальтера Скотта. Я слушал её голос и жадно следил за романтическими событиями, которые каждый раз воспроизводил, рисуя в своей тетради.

В паузах мама оборачивалась, оглядывая всё вокруг своими большими чёрными глазами, и говорила мне: *«Видишь, здесь красиво, как в Италии»*.

И правда, перед нами лежало большое зеркало лазурной воды, небо было ясным, нас окружали кедры, олеандры, лавры и кипарисы, а вниз по склону плавно спускались бесконечные виноградники.

Вот так в конце концов я возмечтал об Италии, навсегда ставшей с тех пор грёзой моей юности. Даже читая Шекспира и рассматривая иллюстрации, не понимая при этом смысла трагедий, я искренне восхищался, повторяя имена – Верона, Дездемона, Падуя. Ещё одной историей, которая меня поразила, был сказка Андерсена под названием «Бронзовый кабан»; возможно, впервые я задумался о том, чтобы стать художником, как маленький герой этой истории, скакавший ночью на бронзовом кабане, проезжая с ним по удивительным улицам Флоренции среди бессмертных картин Палаццо Питти или галереи Уффици³⁶.

Но Крым не был единственной целью летних каникул, иногда мы ездили на Кавказ, в Кисловодск, город, окружённый огромными горами с голубыми и красными скалами, где сверкали прохладные источники целебной минеральной воды, такие как Нарзан. Курорты славились воспоминаниями о Лермонтове, прекрасными белокуроыми москвичками, скачущими рядом со стройными черкесами, одетыми в яркие национальные наряды с кинжалами, инкрустированными серебром, и романтическими трагедиями, которые после каждого летнего сезона пересказывались по всей России.

В мае, с первыми жаркими днями, прежде чем покинуть город, пока школы ещё не закрылись и все с волнением готовились к экзаменам, мы ездили к бабушке на дачу, находившуюся в нескольких километрах от Ростова, в открытой степи.

Зачастую отправлялись в субботу, чтобы провести всё воскресенье, дыша свежим воздухом. Автомобилей ещё не было. Мы выезжали в коляске, часто в бабушкиной, при которой было целых два кучера, отличавшихся своим особенным облачением, сапогами, блестящими от свиного жира, густыми чёрными бородами и волосами, блестящими, как сапоги.

Караван, состоящий из двух или трёх повозок, после пыльной окраины города вытягивался вдоль дороги длиной с десяток километров, ведущей прямо через пшеничные поля к даче.



Дача бабушки вблизи Ростова

³⁶ Палаццо Питти и галерея Уффици – самые известные художественные музеи Флоренции.

Донская степь – равнина не плоская, а волнистая, с небольшими оврагами, которые зовутся балками. Она покрыта высокими злаками, которые от малейшего дуновения ветра колышутся, словно огромное и бесконечное море. Среди этого золотисто-жёлтого моря яркими пятнами выделяются бесчисленные красные, синие, белые полевые цветы, испускающие сильный, опьяняющий аромат, который больше не встречается нигде в мире и известен только тому, кто побывал в донской степи.

К концу поездки среди волн этого необыкновенного моря показывались белые колонны бабушкиной дачи.

Когда коляски въезжали через ворота, их встречал счастливый лай собак и сторож, приветствующий нас глубокими земными поклонами.

Дача была громадная, построенная в том довольно эклектичном стиле, который был в те годы в ходу и в России и в Западной Европе. Сразу по прибытии распахивали окна, чтобы свет немедленно разогнал тени и запахи плесени.

Спереди был заложен сад-цветник, с аллеями из роз, астр, львиного зева и с большим фонтаном, изображающим мальчика и девочку под зонтиком, с бурлящими каскадами и бронзовыми дельфинами, извергающими воду изо рта. По обе стороны стояли две увитые розами беседки, обращённые прямо в степь.

Позади дачи был ещё один фонтан, представляющий собой нечто вроде Нептуна и ещё один сад, упирающийся в вековой лес, где в зелёном сумраке больших деревьев было так приятно в летнюю жару читать в гамаке, привязанном между стволами двух дубов.

В этом саду, где росли алыча, сливы, вишни и яблони, самым привлекательным был огромный лабиринт. Он был устроен зигзагом, крепкие кусты смородины образовывали его стены, и он был любимым местом всех детей, игравших в прятки. Когда они выкрикивали имена, густая растительность изменяла звук голосов, играть становилось гораздо интересней.

Большой лабиринт, проходивший сквозь весь лес, достигал самого края дачного участка, в состав которого входил пруд, из-за подземных источников – почти озеро, где в окружении плакучих ив и камыша меж крупных зелёных листьев цвели голубые и белые кувшинки³⁷. Вокруг стояла абсолютная тишина, днём прерываемая только стрёкотом цикад, а ночью – монотонным перезвоном сверчков.

³⁷ Судя по описанию, дача находилась на территории нынешнего зоопарка.

Было что-то романтическое и фантастическое в этом зеркале воды, напоминающем изображение лица, если неподвижно туда смотреть. Рассказывали связанные с ним истории, сказочные и таинственные.

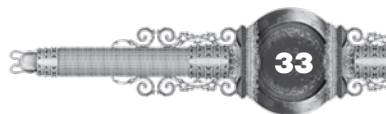
Говорили, что утонувшая там четырнадцатилетняя девочка, светловолосая, с голубыми, как вода, глазами, появлялась среди цветов, чтобы попасть в лабиринт.

Историю о маленькой утопленнице знали все дети, наши няни и слуги, хотя они никогда её не видели.

Меня, наслышавшегося этих рассказов, несмотря на ужасный страх влекла к пруду неодолимая сила. Однако я никогда не осмеливался в одиночку подходить к самому краю и если замечал, что забрался слишком далеко в дебри лабиринта, то молнией возвращался, опасаясь увидеть маленькую утопленницу. Меня пробирала дрожь, когда вечерами наши горничные, собравшись вокруг мягко светившего ночника³⁸, рассказывали эту страшную историю. Никто никогда не видел эту девочку, но однажды я наконец её увидел. Как обычно, я шёл по лабиринту, поедая гроздь смородины, сиявшие на солнце словно рубины. Не знаю, как это получилось, но шёл я задумавшись и петлял так, что очутился возле пруда. Смеркалось, и на ясном небе уже виднелась луна. Вода была спокойна и прозрачна, на её чистейшей поверхности плавали крупные цветы. Вдруг я увидел маленькое существо с длинными золотистыми, будто соломенными, мокрыми волосами, большими голубыми глазами и густыми бровями, которое двигалось прямо на меня, вытянув вперёд руки.

От страха я окаменел. Вместо того чтобы бежать вправо к бахче, примыкающей к крестьянскому дому, почти не соображая я проскользнул в лабиринт и побежал как в бреду к даче, уже в полной темноте. Я чувствовал лёгкие шаги позади себя, шелест мокрых волос, ощущение приближающихся рук и дыхание, холодное, как дыхание смерти.

Наконец, после бесконечной гонки я добежал до дачи и теряя сознание, с острой болью в левом боку, упал в объятия моей тётки. У меня начался горячечный бред. Меня уложили в постель, а когда измерили температуру, было за сорок. В тот вечер в доме бабушки устраивали большой приём, поэтому всё освещалось фонариками из цветного стекла. Гости уже прибыли, но из-за меня пришлось срочно вызывать врача. Обливающийся потом кучер вернулся к полуночи на взмыленной, почти



Тётушки Г. Шилтова с семьями на фоне донской степи во время отдыха у бабушки на даче

³⁸ В России – маленькая масляная лампа, которую всегда держали в спальнях зажжённой (Прим. авт.).



Гимназия Степанова.
Ростов-на-Дону

загнанной лошади; с собой он привёз семейного доктора, который диагностировал сильнейшую бронхопневмонию.

Двадцать дней я находился между жизнью и смертью, а в бреду всё время звал маленькую утопленницу.

Когда я выздоровел, мне остригли волосы под ноль, и мама повезла меня поправляться в Крым, где для укрепления здоровья заставляла есть янтарный гурзуфский виноград.

В семилетнем возрасте я пошёл в частную школу профессора Степанова³⁹, лучшую в городе. Учёба давалась мне очень тяжело, и я ненавидел все те обязательные предметы, которые меня не интересовали, но отвлекали от моих игр, книг, рисунков, брата Коти и сестры Маруси. Самым ненавистным было вставать утром. В семь утра требовалось уже быть на ногах, чтобы по снегу добраться до школы. Меня всегда провожал наш дворник⁴⁰ Иван, но весьма часто я опаздывал, вызывая таким образом неприязнь большинства учителей. В классе мне удалось найти хорошее местечко на одной из задних парт, что позволяло спокойно посвящать себя чтению и рисунку, а поскольку в то время я был большим поклонником Наполеона, то делал его изображения в разных видах и распространял их среди своих товарищей, по заказам которых также выполнял карикатуры на учителей.

То, что меня окружало в частной школе профессора Степанова, достойно некоторого описания. Как и всё население Ростова, в школе были ученики разных национальностей: греки, русские, армяне, евреи и другие, но я ощущал себя далеко от этих ребят, у меня было немного друзей – те, кто были самыми беспокойными, самыми творческими в поиске и изобретении новых игр и ужасных проказ, проделываемых над учителями и товарищами.

В южном климате моего города мальчики созревают весьма быстро, особенно армяне, не выражающие особого расположения к учёбе. Всякий из них говорил, что он уже познал любовь, играл в карты, интересовался тотализатором на скачках. Некоторые старшекласники, в том числе греки братья Карфиатис⁴¹, прилюдно ходили напудренными и нюхали кокаин.

У моего одноклассника Алаханова⁴², красивого черноглазого мальчика с длинными ресницами, как с персидской миниатюры, была настоя-

³⁹ Теперь школа № 36.

⁴⁰ Привратник, присматривающий за порядком во дворе (Прим. авт.).

⁴¹ Вероятнее всего, речь идёт о сыновьях известного ростовского предпринимателя О. А. Корфиати.

⁴² Скорее всего здесь упоминается сын (возможно – внук) нахичеванского промышленника Е. Х. Алаханова.

щая любовница, певичка из кафешантана «Марс» со звучным именем Лярош, но на самом деле она была родом из Одессы и звали её Зина Радикович. Эта певица вызывала зависть всего города своими туалетами и длинными страусиными перьями, которые тогда назывались «плерёз». Мой товарищ с глазами восточного принца вместо того, чтобы ходить в школу, проводил часы в постели Лярош, а гуляя по Садовой можно было увидеть экипаж, откуда высовывались, покачиваясь на ветру, «плерёз» и пятнадцатилетний Алаханов, нежно прижимающийся к груди Лярош.

За партами этой уникальной школы процветали все виды азартных игр. Одна из них была особенно гениальной и своим изобретателям, братьям Сагировым, приносила существенный доход. Это был настоящий тотализатор со ставками на учителей и работал он так: в нашей школе был большой центральный зал для отдыха, который вёл во все классы, в том числе в учительскую. После перерыва звучал первый звонок, который означал продолжение занятий, и второй, оповещавший о входе учителей в классы. Тут и начиналась игра Сагировых: имея возможность проследить за выходом учителей из их комнаты, делались ставки на имя того, кто первым появится. Как правило, это был священник, и тогда в тотализатор можно было выиграть очень мало. Настоящим аутсайдером был учитель рисования, который всегда задерживался. Как-то случилось, что этот господин Гончаров вышел первым. Он был встречен удивлёнными криками всех ребят, потому что тот единственный, кто поставил на него, получил целых пять рублей.

Надо сказать, что братья Сагировы, будучи плохими учениками и никудышными математиками, в совершенстве владели расчётами на тотализаторе и были очень честны, поэтому им удалось заработать немало денег за зиму, пока трюк не был обнаружен и обоих братьев выгнали из школы за «разложение», однако спустя шесть месяцев они вернулись.

Лично у меня в гимназии не было друзей, игры и любовь меня, поглощенного литературой и рисованием, мало интересовали. Товарищи казались отчасти вульгарными, уступающими мне в умственном и духовном развитии. Однако и я был худшим учеником и не был способен ни заинтересоваться, ни приложить усилия для овладения предметами, которыми нас пичкали скучные и тупые учителя. Даже в рисовании я ничего не понимал, потому что мне было настолько скучно копировать узор с гипсовой лепнины, что я никогда не мог сделать рисунок достаточно чёт-



Ф. С. Гончаров (1873–1955), русский, советский художник, педагог



Григорий Шилтян в годы учебы в гимназии Степанова

⁴³ Шарль Луи Анон, в русской традиции часто Ганон или Ханон (1819–1900) – французский музыкант, композитор и музыкальный педагог, известен своими методическими пособиями для обучения игре на фортепиано.

⁴⁴ Карл Черни (1791–1857) – австрийский пианист и композитор чешского происхождения; считался в Вене одним из лучших преподавателей игры на фортепиано. Известен созданием огромного количества этюдов для фортепиано.

ким и чистым. Однажды всё-таки учитель увидел мои тетради с карикатурами, остался ими доволен и впечатлён настолько, чтобы позволить мне рисовать как я хотел, даже раскрашивая акварелью. Гончаров учился в Санкт-Петербургской академии и слышал рассуждения о «свободном» искусстве; и потому не хотел ограничивать или сковывать мои тенденции и позволил мне рисовать всё, что я считал нужным. Я был этому рад, потому что, кроме удовольствия проводить час в соответствии со своими вкусами, мне удалось получить пятёрку, что было лучшей оценкой в классе.

Может быть, а понял я слишком поздно, это было большой ошибкой учителя, так как вместо того, чтобы приучить мою руку к определённой дисциплине и следованию правилам, он позволил непринуждённо развлекаться, что не принесло мне существенной пользы.

Так неохотно я продолжал учиться, чем дальше, тем больше поглощаясь своими фантазиями, отражавшимися в рисунках. Табель выглядел явно катастрофически, мои родители решили нанять мне репетиторов, часто менявшихся из-за моего плохого характера и из-за шуток над ними, которые я себе позволял.

В придачу к школе и неизбежному наставнику я ещё должен был изучать фортепиано и посещать три раза в неделю городскую музыкальную школу. Хотя у меня и была большая страсть к музыке, тут я тоже не смог сосредоточиться, наверное, потому что этюды Ганона⁴³ и Черни⁴⁴ казались очень скучными, а чтобы их исполнять, я был вынужден слишком коротко обрезать ногти. Моя учительница по фортепиано, каждый раз осматривая мои руки, и не находя их состояние удовлетворительным, сама брала ножницы и обрезала мне ногти так коротко, что пальцам делалось больно.

Слушать же музыку было одним из самых больших наслаждений моего детства. Я регулярно посещал концерты. Летом, в саду ростовского коммерческого клуба я не пропускал ни одного, а некоторые произведения заучивал на память. Теми тёплыми ночами, глядя на небо, усыпанное сияющими звёздами, и слушая итальянское каприччо Чайковского, я мечтал о кипарисах и пейзажах Италии, потому что моим неотступным желанием было посетить Западную Европу, казавшуюся мне землёй обетованной, подсказанной и открывшейся мне посредством музыки и литературы.

Отец внял моим мольбам и обещал взять меня в Бад-Киссинген, куда он выезжал каждый год на лечение. Так летом 1913 года мы сели на поезд до Берлина, в то время как остальные члены семьи, по обыкновению, отправились в Крым.

После однодневной остановки в Варшаве, где я впервые увидел готические и барочные церкви, мы продолжили путь в Берлин. Ехали мы ночью, и в то время как мой отец мирно спал в купейном вагоне, я оставался все время прилипшим к оконному стеклу, пытаясь не упустить ни одного впечатления от надвигающейся Европы.

Немецкая столица привела меня в восторг. Мы прибыли на рассвете, когда освещение ещё не погасили, и я был поражён огнями, которые разбивались об асфальт, делавшийся внезапно серебристым от света автомобильных фар. Берлин меня опьянил своим движением и своим особенным запахом – сигар и бензинового выхлопа.

Мы поселились в комфортабельном отеле на Фридрихштрассе. Мне не терпелось выйти сразу, но моему отцу хотелось немного отдохнуть после долгой дороги. Первым делом мы посетили магазин готового платья Адама, где я купил городскую одежду, чтобы сменить ненавистный гимназический мундир, который я стыдился носить. Я выбирал по последней моде, настаивая на брюках с отворотами, какие вошли в обиход совсем недавно. Мой отец удивился моему значительному опыту мужской элегантности и по такому случаю даже купил мне широкополую шляпу. Когда я оделся окончательно, то почувствовал себя иначе и наконец мог ходить по городу без стеснения.

После посещения всех основных достопримечательностей Берлина, мы отправились в сторону Бад-Киссингена, где провели почти всё лето. Я очень гордился своим новым нарядом и, так как в то время был увлечён чтением книг Бласко Ибаньеса⁴⁵, мне хотелось, чтобы люди принимали меня за испанца, поэтому для пущей убедительности всегда носил с собой газету на испанском языке.

Впоследствии мы все вместе ездили в Висбаден. Меня глубоко поразили его удивительные окрестности, Шварцвальд и римская крепость со статуей Цезаря: это был мой первый контакт с латинским миром. Я увидел готический Майнц, а поездка по Рейну в Кёльн заразила меня духом немецкого романтизма, так сильно привлекавшего меня своей поэзией и музыкой.



Григорий Шилтян во время поездки с отцом в Европу. Бад-Киссинген (Германия), 1913 г.

⁴⁵ Висенте Бласко Ибаньес (1867–1928) – один из крупнейших испанских писателей XX века.



Кончита Супервиа

⁴⁶ Правильно – Кончита Супервиа (1895–1936) – испанская певица (меццо-сопрано).

⁴⁷ Имеется в виду Елена Иосифовна Терьян-Корганова (1864–1937) – оперная и камерная певица (лирико-драматическое сопрано, меццо-сопрано), вокальный педагог.

⁴⁸ Имеется в виду Ван-Брандт Надежда Тимофеевна (1882–1925, по другим данным 1948) – оперная певица (лирико-колоратурное сопрано).

⁴⁹ Жан-Луи Водуайе (1883–1963) – французский поэт, романист, эссеист, искусствовед и историк.

Перед возвращением в Россию мы остановились в Дрездене, чтобы посетить знаменитую художественную галерею, которая произвела на меня огромное впечатление. Я уже знал некоторые картины по репродукциям из нашей библиотеки, но реальность меня поразила совершенством исполнения, гладкой и блестящей поверхностью, глубиной теней и яркостью светов.

Мне они показались настоящими чудесами, и я не понимал, как человеческие руки могли сотворить произведения, совершенные настолько, чтобы создать полную иллюзию зримого мира. Хотя я рисовал всегда, но художником становиться не собирался. Рисунок для меня был всего лишь средством выражения, представлением моего воображения и явлений жизни.

Ко времени возвращения в Ростов, к скучнейшей учёбе, душа моя была полна новыми впечатлениями. Мои мысли были далеки от школы, а желание заниматься совершенно исчезло.

В нашем городе Великий пост всегда совпадал по времени с итальянским оперным сезоном, частым гостем которого я бывал; я не пропустил ни единого представления ценой побегов из дома в вечернее время, против желания и абсолютного запрета моих родителей, очень озабоченных состоянием моей учёбы.

В том же году на сцене появилась испанка Кончетта Супервиа⁴⁶, ей было восемнадцать, и она была никому не известной дебютанткой. На мой взгляд, она казалась совершенством искусства и красоты. Я без ума в неё влюбился, она притягивала своим голосом, как средиземноморская сирена, к тому же замечательно исполняла роль Кармен, и меня поразила её необычная интерпретация и страстность. Я так потерял голову, что вместо того, чтобы ходить в школу, весь день околачивался в гостинице, где она жила, и хотел убедить папу, тоже любителя оперной музыки, но немного скептически относившегося к дару Супервиа, в том, что она была самой совершенной в мире Кармен.

Отец отвечал, что есть и лучше, например, Тарьян-Корганова⁴⁷ или Ванбрант⁴⁸. Но я не ошибался, моя интуиция меня не обманула, потому что она была и осталась поистине самой великолепной Кармен и лучшей исполнительницей этой героини Бизе. Через несколько лет она стала одной из самых известных мировых певиц, а после её триумфального дебюта в парижской Опера Комик в 1927 году известный критик Водуайе⁴⁹

посвятил ей статью в «Фигаро», утверждая, что это была лучшая Кармен, которую видел Париж. В то время я находился в столице Франции, и благодаря дружбе с её импресарио мне удалось быть ей представленным.

Когда я признался ей, что несколько лет назад, во время её дебюта в Ростове, безумно в неё влюбился, она была тронута и сказала мне, что, судя по всему, это я её открыл. К сожалению, вскоре после этого она умерла, и мир потерял самую чудесную Кармен, которая когда-либо выходила на сцену.

Успеваемость в гимназии превратилась из плохой в очень плохую. Моих родителей стали часто вызывать для консультаций с учителями. Но всё было бесполезно.

Кроме того, в это время я наткнулся на книги, оказавшие решающее влияние на мою жизнь: это были произведения Оскара Уайльда.

Иногда в воздухе носятся идеи, которые захватывают души почти у всех одновременно. Случилось так, что без какого-либо внешнего толчка я пришёл к эстетическим идеям Уайльда, только гораздо позже заметив, что его представления о красоте и искусстве указали мне путь. Всё это тогда не осознавалось, потому что у меня ещё не было ни склонности к искусству, ни намерения стать художником. Читая Уайльда и всё то, что его занимало, в один прекрасный день я обнаружил рисунки Обри Бёрдслея⁵⁰ и, привлечённый такой техникой, задумал создать несколько иллюстраций к рассказам Уайльда. Я делал их тушью, собственно в манере Бёрдслея, и всегда пытался улучшить их, подражая оригиналу, начиная постигать таким образом смысл художественного совершенства. Через Уайльда я узнал французских поэтов, русских символистов, и всех тех, кто составлял эстетическое течение «декадентов», вторгавшееся в то время в интеллектуальный мир. Тогда же я начал считать себя эстетом, а также хотел этому соответствовать внешне. Я позаботился даже о своей гимназической форме, для неё я сделал очень оригинальные пуговицы, о которых судачил весь город; я пудрил лицо и носил белую гвоздику в петлице. Когда я шёл по улице, то становился объектом особого внимания людей, но, к сожалению, чувствовал себя очень одиноко, потому что у меня не было никого, с кем мог бы поделиться идеями, крутившимися у меня в голове.

Мои товарищи казались грубыми и вульгарными, и я почувствовал некоторую неприязнь к своему городу, который в тот момент мне показался задворками Азии.



Юный ростовский уайльдианец Григорий Шилтов

⁵⁰ Обри Винсент Бёрдслей (1872–1898) – английский художник-график, иллюстратор, декоратор, поэт, один из виднейших представителей английского эстетизма и модерна 1890-х годов.

Временами, когда я прогуливался, то замечал человека, поразившего меня своим бледным лицом, он носил такой же галстук, как у Уайльда, стоячий воротник и палку с набалдашником из слоновой кости. В его облике было нечто особенно изысканное и загадочное. Меня это очень заинтриговало, а из сведений, которые до меня дошли, я узнал, что он долгое время жил в Англии и был (о, небеса!), другом Роберта Росса⁵¹, секретаря Уайльда. В Ростове, в скифских степях, такая встреча, конечно же, была делом providения.

Кроме этого джентльмена, фамилия которого была Шарф⁵², я познакомился ещё с одним эстетом: у него были рыжие волосы, тонкие губы, серые глаза ледяного оттенка, и он в петлице своего пальто тоже носил белую гвоздику.

Меня с ним познакомили мои друзья братья Бейхманы, сыновья норвежского консула. Звали его Коля Миролюбов, и после того как мы с ним перекинулись короткими фразами, сразу же стали неразлучными друзьями. Он был молодым человеком высочайшей культуры, намного превосходившей мою, и радость от этой встречи была почти опьяняющей. Я пригласил его домой на следующий день и с нетерпением ждал его прихода.

Мне так хотелось снова его увидеть, казалось, что я влюбился, забыв из-за него даже Супервиа. Я надеялся со своего балкона заметить, как из-за угла появится его фигура, и моё сердце сильно забилося, когда я увидел его, с белой гвоздикой в петлице. Мы провели два часа за беседой, куря сигареты с золотым мундштуком и затрагивая многие темы: Италию, Верлена⁵³, готические соборы и т. д. В один момент Коля вытащил маленькую записную книжку и попросил меня, чтобы я послушал его стихи.

Это были действительно замечательные стихи, глубоко меня поразившие. Возможно, Коля стал бы великим поэтом, если бы не его преждевременная смерть. Его стихи были в стиле акмеистов, поэтического течения в России, сменившего символизм, ведущими представителями которого были Гумилёв, Ахматова, Мандельштам и другие.

Коля также переводил стихи Рильке⁵⁴ и «Эмали и камеи» Готьё⁵⁵. Дружба с ним имела огромное значение в моём эстетическом развитии, а его индивидуальность очаровывала. В его происхождении было что-то романтическое и загадочное; он являлся сыном знатного одесского

⁵¹ Роберт Болдуин Росс (1869–1918) не был секретарём Уайльда, был его другом и литературным душеприказчиком.

⁵² Владимир Семёнович Шарф – ростовский присяжный поверенный, состоял в обществе изящных искусств.

⁵³ Поль Мари Верлен (1844–1896) – французский поэт, один из основоположников литературного импрессионизма и символизма.

⁵⁴ Райнер Мария Рильке (1875–1926) – один из самых влиятельных поэтов-модернистов XX века.

⁵⁵ Пьер Жюль Теофиль Готьё (1811–1872) – французский поэт и критик романтической школы.

чиновника, покончившего с собой по неизвестной причине, а затем жил с матерью в бедности, давая уроки литературы, чтобы заработать на жизнь. Всё это я узнавал от общих знакомых, потому что он сам никогда о себе не рассказывал.

Мы часто встречались у меня дома или у братьев Бейхманов, которых я уже упоминал, их отец был норвежским консулом, но ему также принадлежал колбасный завод⁵⁶ и лучший магазин мясных деликатесов в Ростове.

Его утехой была любовница и поэтому он редко бывал дома; а его жена проводила несколько месяцев на кавказских курортах из-за слабых лёгких; так что мы хозяйничали в больших апартаментах и нас никто никогда не беспокоил.

Бейхманы не были эстетами, но очень интересовались нашими беседами, признавали наше духовное превосходство и давали нам полную свободу действий.

На наши сходки мы также приглашали молодого поэта Маргулиса⁵⁷, а также известного адвоката Шарфа, который соизволял присутствовать, блистая своими загадочными парадоксами, как Уайльд. Однажды мы решили, в развитие этих встреч основать клуб эстетов, которому дали название «Кружок увядших фиалок».

Нашей штаб-квартирой был дом Бейхманов, где двое мальчиков занимались тем, что обеспечивали съестным наши банкеты.

В большой столовой с огромным ореховым шкафом в баварском стиле, на столе, покрытом брюссельскими кружевами, среди бутылок вина и серебряных тарелок, наполненных салями бейхмановского завода, в окружении бумажных фиалок царствовал портрет Оскара Уайльда, вырезанный мною из широко распространённого в России журнала «Нива».

Но наш клуб посещали не только эстеты. Другие гимназисты, услышав о чудесах этих встреч, приходили к нам, чтобы под предлогом охоты приобщения к гедонистическим доктринам Уайльда сыграть несколько партий в шмендефер⁵⁸. В гостиной читали стихи, Шарф излагал свои парадоксы, и время от времени мы вставали, только чтобы наведаться в другую комнату, полную дыма, где остальные метали банк.

Мои эстетические увлечения и «Кружок увядших фиалок» влияли на учёбу катастрофически, а преподаватели глядели на моё напудренное лицо



«Кружок увядших фиалок» (Миролюбов, Моргулис, Шилтян)

⁵⁶ Колбасный завод «Вейденбах», преемники Г. Г. Бейхман и Кюнцельман, о норвежском консульстве в Ростове сведения отсутствуют.

⁵⁷ Имеется в виду Моргулис Александр Осипович (1898–1938) – поэт, переводчик. Впоследствии жил в Ленинграде, был дружен с О. Мандельштамом, посвятившим ему шуточные стихи – «моргулеты».

⁵⁸ Chemin-de-fer, буквально «железная дорога» (фр.), популярная в начале XX века азартная карточная игра, одна из разновидностей баккара.

хмуро и подозрительно. Мне ещё не было пятнадцати, я ходил в четвёртый класс, но в то время как остальные ребята всё ещё изучали принципы русской литературы, Ломоносова и Державина, я уже бродил по миру Бодлера⁵⁹ и Верлена. Однажды учитель задал мне сочинение о Ломоносове, а я ответил, что предпочитаю «Цветы зла». Учитель разъярился и выгнал меня. Тогда в отместку ему я сделал большую карикатуру на него с ослиными ушами и прибил её к дверям классной комнаты, и мало того, ещё нарисовал карикатуры на всех других преподавателей, включая директора. Всё это в один ужасный день раскрылось, и меня выгнали из гимназии за плохое поведение, слабую успеваемость и разлагающее влияние на товарищей.

Это было большим горем для моих родителей, которые не упрекали меня, ограничились слезами и сочли меня пропащим ребёнком. На семейном совете, где присутствовали также дяди, было принято решение отправить меня в московское училище князя Лазарева, где учился мой отец, в надежде, что тамошняя серьёзная и строгая атмосфера сможет меня спасти.

Была весна, приближались каникулы. На то время и на протяжении всего лета меня оставили в покое, отложив перспективу серьёзности и дисциплины до ближайшей осени. Передышка позволила мне посвятить себя исключительно чтению и рисункам Бёрдслея, так захватившим меня, что я все дни проводил с листами бумаги и тушью. Однажды, когда я рисовал, в комнату вошёл отец и наклонился, чтобы поглядеть на мою работу; осмотрев её, он приласкал меня и с улыбкой воскликнул: «*Ну, вот на чём Гриша сделает карьеру!*»

Наступило лето 1914 года. Вместо поездки на каникулы в Крым в тот раз мы отправились на Балтийское море, в Ригу через Майоренгоф⁶⁰. Я захватил с собой книги, в том числе одну, особенно понравившуюся: «Ренессанс» Уолтера Патера⁶¹.

Рига, прибалтийский город с церквями и домами замечательного готического стиля, своей красотой привела меня в восторг. А Майоренгоф был модным пляжем на западный манер, но море было таким ледяным, что заставляло сожалеть и мечтать о тёплых водах Чёрного моря. Самым впечатляющим были белые ночи. В еловом лесу, окутанном сумерками, рядом с дюнами, омываемыми серыми волнами, все гуляли, обнимаясь с симпатичными златокудрыми девушками. Никто не спал, и со всех сторон доносились аккорды баллад Шопена или «Карнавала» Шумана.

⁵⁹ Шарль Пьер Бодлер (1821–1867) – французский поэт и критик, классик французской и мировой литературы.

⁶⁰ Теперь Юрмала.

⁶¹ Уолтер Хорейшо Патер (1839–1894) – английский эссеист и искусствовед, главный идеолог эстетизма – художественного движения, исповедовавшего девиз «искусство ради искусства».

Однажды ночью, когда я находился среди весёлых юнцов и девушек, вплетавших в волосы цветочные венки, увидел отдельную группу солдат в форме, оживлённо и озабоченно разговаривающих между собой. На следующий день пришло известие о всеобщей мобилизации и о том, что объявлена война Германии. В столовой нашего пансионата отдыхающие собрались вокруг офицера в полной боевой экипировке, в пыльных сапогах, с географическими картами и биноклем на шее, который сообщил, что под Мемелем⁶² уже идут бои.

Я запаниковал, и в невероятной спешке мы были вынуждены уложить чемоданы, потому что Майоренгоф находился вблизи немецкой границы. После многих приключений мы прибыли на юг, к себе домой, подальше от опасностей войны.

В августе пришло время покидать родные пенаты. Хотя я уже считал себя мужчиной, помню, как днями и ночами плакал в поезде, вспоминая свой дом и всех своих родных, с кем расстался.

Родители сначала хотели отправить меня в Лазаревский институт, но мама, сопровождавшая меня в Москву, нашла это учебное заведение слишком суровым, слишком жёстким для меня, привыкшего к семейным удобствам. Она определила меня в другое – частную школу профессора Адольфа, одну из лучших в Москве, расположенную в красивом здании в стиле неоклассицизма на Малой Никитской улице, принадлежавшем когда-то князю Бобринскому⁶³.



⁶² Теперь Клайпеда.

⁶³ Правильно – графу А. А. Бобринскому. Бывшая усадьба Долгоруких-Бобринских, Малая Никитская, 12.

Залы были заняты комнатами отдыха для гимназии и квартирой профессора Адольфа. На верхнем этаже находились классные комнаты, а на первом этаже – пансион, где размещалось два десятка мальчиков.

Первые дни, находясь вдали от дома и моих родных, я очень страдал, но потом столичная жизнь начала меня интересовать и даже моя учёба продвигалась лучше, поскольку преподаватели были более умными и образованными, а одноклассники – более утончёнными, принадлежащими к лучшим московским семьям. Среди них был сын Морозова, великого коллекционера современной французской живописи, чья коллекция считается, возможно, самой лучшей в мире.

Интеллектуальная жизнь Москвы протекала в гораздо более интенсивном темпе и на более высоком уровне, так что мои художественные и интеллектуальные устремления заставляли меня бросаться, как алчущего, на всё, что мог предложить этот необыкновенный город. Своего апогея достигли символисты и декаденты, великие поэты, такие как Брюсов, Бальмонт и Вячеслав Иванов были бесспорно лидерами, пользовавшимися наивысшей популярностью, но также входил в моду новый поэт – Александр Блок. Все они собирались вокруг журнала «Осколки», который был своего рода библией для московских интеллектуалов.

Многочисленные театры, во главе с художественным театром Станиславского, представляли великие спектакли; в области музыки последней новостью был Скрябин; о живописи и поэзии уже упоминалось, но реакцией на эстетический упадок стал авангардизм. Движение авангардистов возникло благодаря коллекции мецената Щукина, вывезшего из Франции лучшие образцы французской живописи. Московский промышленник Щукин, простой, но с причудами, в своих поездках в конце девятнадцатого века открыл некоторых французских живописцев, тогда почти совершенно неизвестных, таких как Сезанн, Ван Гог, а позже – Матисс, Пикассо и других, и привёз самые значительные их работы в Москву. Он был самым крупным их меценатом и, конечно, предшественником Воллара⁶⁴, завершив своё собрание Ренуаром, Мане, и составив наряду с ним одну из лучших в мире коллекций. Его друг Морозов не хотел ему уступать и создал другую, такой же ценности, которая сегодня вместе с первой составляют музей исключительной важности.

В то время все эти работы выставлялись во дворцах, где жили их обладатели, и увидеть их можно было только несколько дней в неделю.

⁶⁴ Амбруаз Воллар (1866–1939) – один из самых значительных торговцев произведениями искусства в Париже на рубеже XIX–XX веков.

К началу двадцатого века эти картины оказали влияние на всех московских художников, на них возросло авангардистское движение, претендующее представлять искусство свободное, отражающее динамизм и светлое будущее прогресса. Однако я понял (хотя и не совсем сразу), что это было не столько авангардом, сколько продолжением и концом периода декаданса, старческой усталостью пожилых искателей утончённости, это было упадком духовных ценностей нашей цивилизации.

На самом деле авангардисты полагали, что они могли шагнуть нога в ногу с революцией, потому что в её первые бурные годы им немного улыбнулась удача, но вскоре возник новый мир, разорвавший связи с прежней цивилизацией, и авангардисты были осуждены как выражение буржуазного декаданса.

В тот год, когда я прибыл в Москву, там было несколько авангардистских выставок – сезаннистов, кубистов и с большим шумом нарождающихся футуристов. Несколько лет назад в Москве с триумфом принимали Маринетти⁶⁵. Молодые художники вышли встречать его на вокзал и несли его на руках в отель с восторженными криками, возвещавшими о приходе нового мессии. Незадолго до его приезда тех же почестей был удостоен Макс Линдер⁶⁶, потому что в России, как известно, всё вызывающее энтузиазм достигает размаха, которого трудно добиться в Западной Европе.

В московских выставках 1915–1916 годов я находил все тенденции современной живописи, которые потом распространились по всему миру. Бесчисленные последователи Пикассо, Сезанна, Матисса и фовизма создали русскую школу во главе с Гончаровой, Лентуловым и другими. Даже сюрреализм имел своего предтечу в лице литовского художника Чюрлёниса, чьи астральные пейзажи предвещали работы Дали. Среди абстракционистов Татлин и Малевич считались более авангардными, чем Пикассо. Теперь тот же Малевич заново открыт в Америке как великий гений, хотя для тех, кто знал его лично, он был никем иным, как претенциозным и неспособным заикой.

Меня полностью охватил огненный вихрь интеллектуальной жизни, и я впитывал всё новое, что представало перед моими глазами.

Поэтому, когда много лет спустя я увидел в Париже те же самые тенденции, представленные как совершенно новые открытия, то был печально удивлён, отметив, что, к сожалению, мир совершенно не продвиг

⁶⁵ Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944) – итальянский писатель, поэт, основатель футуризма.

⁶⁶ Макс Линдер, наст. имя Габриэль-Максимилиан Лёвель (1883–1925) – французский актёр-комик, сценарист и режиссёр немого кино.

нулся вперёд, но наоборот, под знаменем ложного прогресса всё больше и больше пятится назад. Это можно было предположить, так же как сегодня, видя возрождение (надеюсь, последнее) последователей Пикассо, Сезанна, Ван Гога и других, я представляю себе наиболее печальные последствия трагического фарса, разыгрывающегося на упадке этой цивилизации.

В то время, однако, русский авангард нёс отпечаток определённого идеализма, искреннего и бескорыстного. В самом деле, его приверженцы бросили вызов традиционным вкусам, живя в нищете, так как никто не покупал их картины, но в их единственной заботе по-юношески фанатично бороться со всем и вся был некоторый снобизм. Футуристы бродили по улицам в жёлтых и розовых блузах, с раскрашенными в красный цвет лицами и морковками в петлицах; их основным занятием было создание скандала ценой побоев, с энтузиазмом надеясь вызвать впечатление и убедить общественность в истинности их миссии.

Когда через несколько лет я оказался свидетелем авангардистского движения на Западе, я увидел, как это очень крепко вросло в массы – в каждом доме, в каждой гостиной псевдоинтеллектуалов на стенах висели картины фовистов или кубистов, Хуана Гриса⁶⁷ или Брака⁶⁸, самый взыскательный вкус почитал их как художников. Но важнее всего было не техническое совершенство работы и не смелость идеи, а наличие контракта с Полем Розенбергом⁶⁹ или другим модным торговцем. Таким образом, лучшими или даже гениальными были Пикассо или Матисс, умело разрекламированные и потому стоившие больше других. Сегодня, на расстоянии пятидесяти лет, эти авангардисты мне очень напоминают биржевых дельцов, сытых и довольных, но ревнивых и яростных по отношению к любому, кто посмеет выступить против их чудовищной академии.

В течение первого года войны в Москву из Парижа вернулись Марк Шагал, Натан Альтман, Кончаловский, и первый успех они имели здесь. Их продвигал критик Яков Тугенхольд⁷⁰, известный своими статьями о французской современной живописи. В России наиболее влиятельным художественным журналом был «Аполлон», под началом Сергея Маковского, в котором все молодые интеллектуалы и художники надеялись прочесть свои собственные имена. Первая известность Шагала, Ларионова, Гончаровой, Архипенко, Григорьева, Сарьяна и других состоялась

⁶⁷ Хуан Грис (1887–1927) – испанский художник и скульптор, один из основоположников кубизма.

⁶⁸ Жорж Брак (1882–1963) – французский художник, график, сценограф, скульптор и декоратор.

⁶⁹ Поль Розенберг (1881–1959) – французский искусствовед и коллекционер.

⁷⁰ Правильно Тугендхольд, Яков Александрович (1882–1928) – российский, затем советский художественный критик, искусствовед.

благодаря статьям в этом журнале. Только много лет спустя Шагала в Париже «открыл» Воллар. Этот огромный метис, таким печальным образом повлиявший на современную живопись, имел свойство всегда успевать вторым. Такие художники как Григорьев, Альтман, которые сильнее притягивали меня и несли в себе качества более живые и более позитивные (помню портрет поэтессы Анны Ахматовой Альтмана), монпарнасской⁷¹ средой во внимание не принимались.

В художественном театре доминировал Станиславский, получивший мировую известность за театральный реализм, постановки столь совершенные, что им трудно найти равных. Думаю, однако, что с чисто реалистической точки зрения латинские актёры превосходят русских: реализм итальянского или французского актёра удивительно естественен, в то время как русские актёры более диалектичны, я бы даже сказал – более стилизованы. Поэтому русский театр, удивляющий совершенством своих мизансцен – скорее театр, нежели жизнь. Ещё был очень популярен Новый Камерный театр Таирова, а кроме него – множество театров-студий различных направлений. О Мейерхольде и Вахтангове ещё никто не знал.

Хотя в Москве я нашёл благодатную почву для своего интеллектуального опыта, я с нетерпением ждал Рождества, чтобы вернуться домой. Наконец наступили каникулы, и я уехал на поезде с другом, жившим на Кавказе.

Невозможно описать испытанную мной радость, когда спустя четыре месяца я обнял своих родителей, брата и сестру; также очень приятно было вновь увидеть старых друзей, приветствовавших меня в «Кружке увядших фиалок» с большим энтузиазмом и с почтением, которого заслуживает прибывший из столицы.

С другой стороны, и я очень гордился новым опытом. Миролюбов и Маргулис читали свои новые стихи, и мы с ними решили дать жизнь журналу типа «Аполлона», который называли «Обелиск»; написанный от руки, он должен был вобрать в себя наши работы и наш юношеский задор. Миролюбов и Маргулис опубликовали в нём свои стихи, а я, кроме рисунков, описал всё, чем восторгался в Москве.

Новый сотрудник, Володя Андреев, внёс лепту в виде своих последних музыкальных композиций. Ещё мы решили пригласить моего

⁷¹ Монпарнас – парижский квартал, известный своими кафе, где собиралась творческая интеллигенция.

двоюродного брата Павла⁷², поскольку он тоже был хорошим рисовальщиком.

Павел потом стал крупным хирургом, он никогда не думал о художестве, но его рука так совершенно умела копировать оригиналы и старинные картины гуашью и темперой. Ещё он обладал невероятной способностью выполнять серию рисунков на пергаменте в стиле персидских и армянских миниатюр, золотом и яркими красками изображал фантастических птиц или буквы алфавита. Этой своей способности он большого значения не придавал и твёрдо решил стать врачом.

В юности я знал некоторых ребят с необычайными способностями к рисунку и живописи, иногда превосходящими мои, но ни один из них не стал художником. Вполне возможно, чтобы быть им по-настоящему, кроме качеств безусловных, я бы сказал врождённых, нужно также состояние мучительного желания и горения, только с которым потом можно создать произведение искусства.

Рождественские праздники прошли в мгновение ока, и с ещё большей грустью мне пришлось возвращаться в Москву, хотя на этот раз разлука с моими родными была менее мучительной. Мне приходилось оставаться вдалеке от них до ближайшего лета без перерыва. Я чувствовал себя виноватым перед родителями: я вернулся в училище, исполненный добрых намерений и, так как повторил курс, было легче произвести хорошее впечатление, да и в преподавателях я находил больше понимания и интеллигентности.

Так что впервые я перешёл в следующий класс без переекзаменовки.

В начале июня я вернулся к семье с большими планами, из их числа на первом месте был наш журнал «Обелиск». Спустя две или три недели он вышел первым номером на пергаменте, с лентами, цветными рисунками и имел большой успех среди наших друзей, на этот раз даже родители хвалили нас за способности. С Миролубовым я стал неразлучен: мы виделись каждый день, в апогее нашего эстетства дискутируя о поэзии и живописи. Когда вечер опускался на ростовский порт, мы представляли себе, что прогуливаемся по лондонским докам, а когда пересекали широкую улицу, усаженную акациями, верилось, что мы и впрямь на Итальянском бульваре в Париже. Мы жили воображаемой жизнью, потому что тогда вся окружающая действительность казалось недостойной нас; мы читали роман Гюисманса⁷³ «Наоборот» и хотели жить по своим заповедям.

⁷² Шилтов Павел Григорьевич – главный врач больницы Нефтегорска, впоследствии известный хирург на Кубани.

⁷³ Жорис-Карл Гюисманс (1848–1907) – французский писатель, первый президент Гонкуровской академии.

На каникулах, в июле, мой отец уехал в Кисловодск, на Кавказ, в то время как я, мама, сестра, брат и няня отправились в Евпаторию, в Крым.

Зная, что меня ждут синее небо, чистое и прозрачное море, олеандры и лавры, я захватил с собой книги, подходящие, чтобы создать вокруг себя латинскую и средиземноморскую обстановку: «Саламбо» Флобера и «Золотой осёл» Апулея, для которого даже хотел сделать иллюстрации.

Евпатория немного похожа на Виареджо своим прекрасным пляжем с золотистым песком, мягким и пушистым, большими гостиницами и красивой сосновой рощей, откуда я вглядывался в даль крымских гор.

Днём мы ходили на пляж, а вечером плавали на лодке с юными красавицами, с которыми до этого я познакомился в Москве. Но чаще я предпочитал оставаться один на своей террасе и рисовать, и собственно тогда мне пришла идея послать несколько своих работ на весеннюю выставку в Ростов (должно быть ту, что с 1911 года регулярно проводило Ростово-Нахичеванское общество изящных искусств. — *Ред.*). Однажды утром (помню, что было 5 августа 1915 года), когда я занимался рисованием, мои брат и сестра уже были с няней на пляже, а мама в своей комнате завершала туалет, прибыл посыльный с телеграммой для нас, которую вручил мне; я хотел её вскрыть, но в этот момент в комнату вошла мама и со страхом в своих больших чёрных глазах вскрикнула: «*Оставь, я открою*». Через мгновение она упала, бормоча: «*Ваня, Ваня!*» В телеграмме дядя Давид вызывал нас домой, потому что моему отцу стало очень плохо. Телеграммы такого рода отправляют только если положение безнадежное. Мама, окаменевшая от ужаса, сквозь слёзы объяснила мне, что прошлой ночью у неё было плохое предчувствие, потому что ей приснился отец, который, спускаясь по лестнице, попрощался с отрешённым выражением лица. Сон прервался на том месте, когда она осталась дома в ожидании какого-то несчастья.

Отец был довольно молод, пятидесяти двух лет, весел, здоров и полон жизни, таким я его запомнил, когда мы с ним прощались перед отъездом в Кисловодск.

Через Евпаторию железная дорога не проходила, и пришлось ехать в Симферополь, чтобы сесть на поезд. Мы обыскались автомобиля, редкого в те времена, чтобы добраться до железнодорожной станции. Наконец один удалось найти, и уложив багаж, в страшной спешке мы выехали. Брат и сестра, обычно весёлые и капризные, молча и со страхом глядели

И. Г. Шиятовъ.
(Некрологъ).

4 августа въ Кисловодскъ внезапно скончался нотариусъ ростовскаго на-д. окружнаго суда И. Г. Шиятовъ.

Благородный курсъ изъ московскихъ высшихъ учебныхъ заведений окончилъ въ 1882 году поступилъ на юридическй факультетъ московскаго университета, который и окончилъ со степенью кандидата права.

По окончаніи курса онъ занялся въ покоемъ присяжного повереннаго и поступилъ на службу въ нагичеванскую городскую управу.

Какъ присяжный поверенный, онъ обратилъ на себя вниманіе, какъ добросовѣстный трудельник, крѣпко относящійся къ порученіямъ кліентовъ и отличающійся всегда простотою, искренностью и деликатностью въ отношеніяхъ къ своимъ товарищамъ, которыхъ и выдвинулъ изъ среды товарищескаго союза присяжныхъ поверенныхъ, по въ это время онъ перешелъ въ нотариаты.

Онъ долгое время былъ однимъ изъ главныхъ членовъ нагичеванской городской думы, заботливо занимаясь дѣлами, сообщаясь членами и всегда сильно поддерживая свой голосъ въ защиту общественныхъ и общественныхъ.

Корректный, правдивый, онъ былъ не только и вѣдомъ не забывать заботамъ, женою и неокороженными детьми. Добраго и заботливаго въ немъ доминировало, въ особенности, эта безогрѣчивая доброта, которая такъ въ немъ всѣмъ излучалась, такъ въ немъ проявлялась и такъ обостряла его рыцаря неокороженности.

Нашъ другъ покойный, дорогой товарищъ.

Гр. Чаловичевъ.

Газета «Право», №36,
16 августа 1915 г.



Ростовскій нотариусъ и главный на-
чальникъ думы
И. Г. Шиятовъ.

коронъ умершаго въ Кисловодскѣ
ростовскаго нотариуса и главнаго на-
чальника городской думы И. Г.

на меня и маму. Никто из нас не плакал, но мы были в отчаянии от текста телеграммы, хватаясь за тонкую ниточку надежды, что свойственно всем людям. В Симферополе мы сели на поезд и продолжили наше печальное и молчаливое путешествие. Я знал, что последние новости могут появиться в ростовских газетах; поскольку отец в городе был весьма известен, в случае несчастья обязательно бы упомянули.

Маме я ничего не сказал, но на каждой станции выходил купить газеты.

Бедной женщине пришла в голову та же самая идея, и мы встретились перед газетным киоском, и хотя она догадывалась что именно я ищу, она спросила меня, за тем же ли я здесь. Но газеты были вчерашние. Наконец на станции Л. . . я нашёл свежий номер, и, открыв страницу хроники, сквозь слёзы, застилавшие глаза, увидел некролог с именем отца в начале и крестом в конце; никакого сомнения больше не было — папа скончался. Мама упала в обморок. Наша скорбная поездка продолжалась в рыданиях до самого ростовского вокзала. В ожидании нас под козырьком перрона собрались все родственники. Тело моего отца ещё не привезли; это будет только завтра.

В наш скорбный дом мы вошли, ожидая этого трагического завтра. Папа умер внезапно, во время утренней прогулки; может быть в этом была вина врача, его двоюродного брата, которому он слепо доверял, не распознавшего атеросклероз и лечившего его от кишечного расстройства, и поэтому назначившего ему минеральные нарзанные ванны сильно расслабляющего действия.

Образ отца навсегда запечатлелся в моих глазах. Совершенно чётко помню его бородку, его руки, нежную ласку, когда он с любовью хвалил мои рисунки. На его похороны собрался почти весь город; мы с мамой были в такой прострации, что не могли ни слова сказать, ни поплакать. Брата с сестрой отправили к тётке, чтобы они не участвовали в этом трагическом действии. После этого несчастья наша жизнь полностью изменилась. Отец был небогат, он только в последние годы своей жизни хорошо зарабатывал, став лучшим нотариусом в городе. Он выкупил дом, где мы жили, а кроме того оставил после себя ценные бумаги. Нам приходилось жить с дохода от всего этого. К счастью, дом был в центре и в нём располагались хорошие магазины, так что доход мы могли получать неплохой.

Мы жили на втором этаже, наполовину занятом конторой моего отца, и мама решила сдать её в аренду другому нотариусу, оставив себе вторую половину квартиры.

Наш уровень жизни вынужденно стал очень скромным, и я чувствовал свою ответственность как единственный мужчина в семье; меня одолевала угрызения совести за те неприятности, которые я доставлял папе, и я поставил перед собой цель – серьёзно учиться, отказавшись от всего, что меня отвлекало в прошлом. Моего возвращения в Москву мама не хотела, чтобы не разлучаться со мной, и тогда мне пришлось искать в Ростове другую гимназию. Мама была очень удручена и не могла содействовать моим поискам; я сам нашёл частное заведение, соответствующее моим вкусам. Это была другая частная школа, профессора Зайцева⁷⁴, имевшая печальную славу, потому что все знали, что учиться там весьма нетрудно, а дипломы выдавались с большой лёгкостью. Её прозвали «Приют», потому что в ней собирались все исключённые из других школ Кавказа и южной России.



Гимназия профессора
Зайцева

⁷⁴ Находилась на углу
улицы Московской и
пер. Казанского (ныне
Газетный).

Я считал, что таким образом смогу без особого напряжения посвятить себя как учёбе, так и искусству, цели всей моей жизни. К тому же школа была не очень далеко от дома, и поваляться в постели можно было подольше.

Ученики составляли довольно разношёрстную массу (я нашёл там даже некоторых друзей, исключённых из гимназии Степанова), но основное ядро составляла группа грузин, прибывших из Кутаиса; их массово изгнали из местной школы за убийство директора, также преподававшего математику, очень придирчивого и очень скупого на похвалу и отметки по отношению к горячим детям гор. . . Убийца остался не установлен.

Естественно, за этим последовал большой скандал и педсовет решил исключить весь класс целиком, сохранив за ними право посещать любую другую гимназию на Кавказе. Вот так одна часть этих молодых грузин, прослышав о вольной гимназии Зайцева, решила сменить обстановку и продолжить учение в Ростове.

Грузины, твердолобые и упрямые горцы, решившие учиться, делали это с энергией и прилежанием почти жестоким.

Они были ребята коренастые, некоторые уже носили усы, так как этот южный народ физически развивается весьма рано. На самом деле некоторые привезли с собой даже любовниц. В моём классе, шестом, была компания, занимавшая место на последних партах, и громко повторявшая лекции, как делают верующие в церкви, повторяя за священником. Когда некоторые профессора их вызывали, а они были плохо подготовлены, то так сурово смотрели из-под нахмуренных бровей, что испуганный преподаватель бледнел, кротко улыбаясь сажал их на место и ставил в дневник высшую оценку.

Среди них было несколько князей, но в Грузии такой титул очень распространён, и тот, кто его носит, не считается принадлежащим к высшей аристократии, как в других местах. Был, например, один такой, звали его Нико Кикнадзе, у которого на визитной карточке слева внизу, где обычно ставится название города, было напечатано только скромное определение: «князь». Многие из них жили в маленькой гостинице неподалёку от школы и потому не поддерживали схоластическую дисциплину, обычно пропуская занятия и объясняя это тем, что занимаются дома. Остальным, включая меня по причине моего темперамента, с трудом удавалось посещать школу больше недели подряд; мне нужен был перерыв, и несколько раз я, прогуливая занятия, заходил к ним в трактир.

Взойдя в девять утра на второй этаж, где была комната Кикнадзе, я оказался зрителем достаточно уникального представления. В спёртом от сигаретного голубого дыма воздухе виднелась кровать, на которой громоздилась группа из пяти или шести человек: кто-то звучно целовался со своей возлюбленной, рядом другой, сидя по-турецки и заткнув уши ватой, чтобы не мешал шум, изучал по учебнику алгебры новую теорему; третий, с балалайкой в руках, наигрывал известный кавказский танец лезгинку; четвёртый, также заткнув уши, читал во весь голос раскрытый перед ним учебник географии. Посреди комнаты ещё один резво, но очень грациозно танцевал под балалайку. Остальные, сидя на полу, сопровождали танец отхлопыванием в ладони чуть ли не каждую ноту. Когда танцор устал и бухнулся в кровать учить алгебру, его сменил другой. На столе среди потрёпанных книг выделялись большая бутылка кахетинского и единственный стакан со следами зубной пасты, а на обрывке газеты лежали солёные огурцы.

Как только я вошёл, мне предложили выпить из того единственного стакана и передали лист бумаги, который я прикрепил к стене, чтобы рисовать углём портреты. Обычно я проводил в их компании пару часов, а потом со всеми своими книгами чинно-благородно возвращался домой. Занятия в гимназии Зайцева не отнимали много времени, вечера я проводил дома с семьёй, почти не видясь с друзьями и рисуя до поздней ночи.

Как уже однажды намеревался, я решил послать свои работы на весеннюю выставку и начать таким образом свою художественную карьеру. Я отобрал шесть рисунков, навеянных тогда Бёрдслеем и аккуратненько выполненных тушью; другие были вдохновлены вагнеровскими трагедиями и сюжетами Фелисьена Ропса⁷⁵.

Наконец настала весна.

Завернув рисунки в легкий золочёный свёрток и не сказав дома ни слова, с сердечным трепетом я послал их на выставку изящных искусств. С большим волнением я ожидал ответа жюри и очень боялся, что придёт отказ; напротив, за два дня до открытия я получил письмо, в котором мне сообщалось, что приняты все шесть.

Это были самые счастливые дни в моей жизни. Я с триумфом продемонстрировал письмо обрадованной и растроганной маме, несколько обеспокоенной тем, что я хочу избрать путь художника, такой трудный и



Неоконченный портрет художника Г. Шил'tяна работы художника Н. Ф. Гущина. 1916 г. Ростов/Дон

⁷⁵ Фелисьен Ропс (1833–1898) – бельгийский художник-символист.



Митя Фёдоров

⁷⁶ В дальнейшем он также использовал вариант «Шилтиан».

⁷⁷ Дмитрий Степанович Фёдоров (1890–1963) – русский и советский художник, жил в Ростове-на-Дону с 1911 г. по 1938 г., встречался с Есениным и Маяковским, был близок к окружению Максимилиана Волошина.

⁷⁸ Фёдор Семёнович Гончаров (1873–1955) – ростовский художник, ученик В. А. Серова.

⁷⁹ Аким Карпович Ованесов (Аванесов) (1883–1966) – художник, родился в Нахичевани-на-Дону. Был первым председателем Ростовского отделения Союза художников СССР.

тернистый по её мнению. С комком в горле я отправился на вернисаж и увидел свои рисунки, выставленные на самом выгодном месте; поскольку такая манера исполнения была в Ростове почти неизвестна, я имел огромный успех. Все художники отнеслись ко мне очень благосклонно, дружески похлопывая по плечу, а городские газеты расхваливали мои работы. К पुшечему удовлетворению, все были проданы по цене двадцать пять рублей за штуку. Первый был приобретён моим дядей, чтобы меня поддержать, остальные же – городскими коллекционерами. Следует сказать, что я подписал свои рисунки оригинальной фамилией – Шилтян, в то время как отец, по примеру почти всех армян, живших в России, заменял армянское окончание «-ян» на соответствующее русское «-ов». Мне, однако, такая замена не нравилась, потому что Шилтян мне казалось более звучным, более западным, более романтическим, почти как д'Артаньян, Сурбаран или Тициан, и тогда я решил воспользоваться этой формой, более соответствующей моим понятиям⁷⁶. Вот так в Ростове сделал свои первые шаги художник Шилтян. У нас было ещё много художников, как, впрочем, во всех городах мира. Авангард возглавлялся Митей Фёдоровым⁷⁷, учеником московской академии, из которой его исключили за то, что он объявил её отсталой. Жил он в одной из мансард, в рабочем пригороде Темерник. Происхождения был весьма бедного, вдохновляясь Гогеном, рисовал резкими красками большие картины на экзотические сюжеты. Моделью ему служила собственная жена; может даже она была красива, но Фёдоров каждое утро заставлял её сбривать брови и дорисовывал их ей, припудривая её фиолетовой пудрой и всегда одевая в длинную чёрную шаль с золотой бахромой. Несмотря на свои причуды, он был хорошим парнем и часто рассуждал о Сезанне, о существе и восприятии живописи.

Консервативное течение на выставке было представлено моим учителем по гимназии Степанова, Гончаровым⁷⁸, который выставил портрет старушки, хорошо нарисованный, но мне не понравившийся из-за излишнего академизма. Среди художников также было несколько армян, помню Ованесова⁷⁹, рисовавшего тяжёлыми мазками.

Наиболее прославленным среди ростовского и российского мира искусства был Сарьян, и он остаётся таковым по сей день.

В то время он жил в Москве, но на весенние ростовские выставки всегда присылал какую-нибудь работу. Он был художником большого

таланта и выделялся в череде московских модернистов, среди которых занимал одно из первых мест. О нём написано множество монографий и статей в различных художественных журналах. Его живопись также развивалась под влиянием Матисса и отчасти Гогена, но обладала особенным восточным ароматом, а в натюрмортах и в кавказских пейзажах, нарисованных темперой, была поистине особая прелесть ни с чем не сравнимых цветов.

Несмотря на успех моей первой выставки, рисунки Бёрдслея и эстетизм вдруг показались мне устаревшими. И тогда я принял важное решение – стать художником. Впечатления от московских галерей преобладали в моём сознании всё больше и больше, и было странно, что образы античного искусства, которые я всего год назад видел в Дрездене, почти стёрлись из моей памяти, уже становясь далёкими воспоминаниями детства. Меня также привлекали современные тенденции в живописи, потому что они казались очень лёгкими и соответствующими моим способностям. Я был жаден к жизни; абсолютно хотелось выразить все мои чувства на языке живописи.

Не имея, к сожалению, возможности видеть в Ростове оригинальные произведения, приходилось довольствоваться любованием репродукциями в книгах и журналах, попадавших мне в руки. Над письменным столом в моей комнате, где раньше висел портрет Оскара Уайльда, появились репродукции современных картин, вырванные из газет и журналов. Я был подписан в публичной библиотеке, и так как в Ростове было трудно обзавестись иллюстрациями, которые меня интересовали, каюсь, вырывал листы из томов, принадлежащих той самой библиотеке: там были картины Леже⁸⁰, Пикассо, Брака, Сезанна и «Кафешантан» Джино Северини⁸¹, которые, как я представлял себе, были верным отображением динамичной современной жизни.

В моём мозгу непрерывно возникали образ за образом, и я чувствовал, что языком живописи смогу их воспроизвести. Вокруг себя я постоянно усматривал сюжеты для натюрмортов и для самых разнообразных композиций. Потом я понял, что мой эстетизм был ничем иным, как любовью к видимому миру: я восхищался парижскими кафе, как и доками Лондона, потому что восхищался всем, что предлагалось моим внимательным и жадным глазам. Но разве не является единственной целью художника любить и пытаться отобразить зримый мир?

⁸⁰ Жозеф Фернан Анри Леже (1881–1955) – французский живописец и скульптор.

⁸¹ Джино Северини (1883–1966) – итальянский художник, график и скульптор. «Кафешантан» (Caffe concerto) – цикл картин Северини, в которых с помощью разорванных деталей изображения он пытался передать движение.



А. К. Ованесов (Аванесов). Нахичевань-на-Дону, 1910-е гг.

⁸² Имеется в виду Константин Иванович Аладжалов (1900–1987) – художник-график, иллюстратор, акварелист, эмигрант первой волны. Родился в Нахчевани-на-Дону, в 1923 году эмигрировал в США. Сотрудничал с журналами The New Yorker, The Saturday Evening Post и Fortune. Его работы находятся в коллекциях Музея современного искусства в Нью-Йорке и в Бруклинском музее.

⁸³ Лефран (Лефранк), фр. Lefranc – одна из известнейших фирм, выпускающих краски для живописи.

С самого детства я был внимательным наблюдателем, всё окружающее поражало меня так, что оставалось во мне почти как фотографическое изображение людей и предметов. С малых лет я пытался передать этот мир с помощью рисунка и уже тогда чувствовал, что посредством этого могу легко выплеснуть наружу всё, что впитывал и вбирал в себя.

Без сомнения, в тот период передо мной встала трудная проблема, так как чтобы начать рисовать, мне требовался надёжный руководитель. Но где найти учителя, который научил бы элементарным вещам – держать в руке кисти и выдавливать тюбики с краской на палитру? Я не был достаточно осведомлён о настоящих трудностях искусства и о том, что рисунок может быть основой всего. Видя картины современных художников, я чувствовал, что способен сделать то же самое: мне не хватало только введения и наставничества.

Точно такие же мысли были у моего друга Аладжалова⁸², стремившегося достичь той же цели, так что мы решили вместе заниматься у преподавателя. Фёдоров для нас был чересчур авангардистом, слишком часто менявшим манеру живописи, и мы не считали его подходящим. Мы нуждались в том, кто научил бы нас собственно технике живописи маслом, то есть какие кисти использовать, какие цвета выбирать, какие краски и холсты, после чего мы сможем прекрасно рисовать, как Сезанн или Пикассо. Наш выбор пал на Ованесова, художника, которого я уже упоминал, учившегося в московской академии, выставившего одну из своих картин, показавшуюся мне весьма точной. Мы с ним побеседовали, и нам удалось договориться о не слишком высокой цене за это начальное обучение.

Ованесов дал нам список – какие краски купить, настаивая на приобретении лучших, а именно «Лефран»⁸³, велел заказать у плотника две глубоких и длинных палитры, в шестьдесят или семьдесят сантиметров, сходил с нами в магазин за кистями, советуя взять самые большие и плоские, из щетины. Я робко возразил, что хотел бы работать кистями тонкими, как голландцы, но он с презрением ответил, что большие подойдут лучше всего, потому что к живописи нужно приступать с энтузиазмом и мужеством. Мы с другом, запасшиеся красками, кистями, холстами и нашими огромными палитрами, поехали на трамвае в Нахичевань, прямо домой к профессору. Дом был одноэтажным, как и многие в России, с деревянной балюстрадой и несколькими ступенями, ведущими вниз в не-

взрачный дворик, заваленный отходами всех видов, черепицей, битыми кирпичами и мусором.

Было жарко (стояло лето), и учитель появился без рубашки и в тапочках. Он поставил наши холсты на два стула, которые должны были играть роль мольбертов, и сонным взглядом осмотрел вокруг, что выбрать бы такого для копирования. На перилах стоял горшок с геранью; профессор его переставил чуть правее, оглядел его, отступив три шага назад, и удовлетворённо воскликнул: *«Отлично, попробуйте скопировать этот горшок»*. Я спросил: *«Но как? Копировать только горшок? или всю балюстраду? а на каком фоне?»* Прямо перед моими глазами позади герани возвышалась гора мусора из пустых банок из-под сардин, обломков камня, старой обуви, мётел, стёршихся веников и т. д. Если бы пришлось копировать всё это, я не закончил бы и за сто лет. Ованесов ответил: *«Нужно всё рассматривать синтетически, но умеренно»*, и говоря так, взял наши палитры, чтобы показать нам, как следует накладывать краски. Взяв в руки наши новые великолепные тюбики от Лефрана, он выдавил из них добрую половину, так что у меня с сердцем сделалось плохо. На моей палитре и на палитре моего друга правильной цепью выросли небольшие разноцветные горы. Мы взяли в руки кисти, огромные словно мётлы, тем временем Ованесов наставлял нас: *«Начинайте, но мой вам совет – краски смешивайте. Попробуйте получить как можно более горячий цвет, не жалейте охры»*. После чего он удалился в свою прохладную столовую, сообщавшуюся с террасой, и упал на диван. Через некоторое время до нас донёсся его храп. Наш труд был всё равно что Сизифов, мы чувствовали, что вязнем в красочной массе, как в болоте, огромные кисти не хотели двигаться по холсту, чёткий рисунок, который я сделал заранее, исчез под толщей краски. Я весь вспотел от жары и ужаса. Время от времени из сумрачной и прохладной столовой доносился голос учителя, проснувшегося, чтобы прихлопнуть назойливую муху, который кричал: *«Больше охры, чтоб горело всё!..»* и продолжал храпеть. После часа такой работы целых два тюбика охры закончились. Прошло около двух часов этого необычного занятия; Ованесов поднялся, вышел на террасу, взглянул, прищулив глаза, на мою работу, затем подбежал, чтобы выдавить кулаком на палитру целый тюбик красного кадмия и энергичным мазком всадил его на моё полотно. *«Хорошо, – воскликнул он. – Вот теперь всё интонировано. Почти как у*



Константин Аладжалов



Ростово-нахичеванский трамвай начала XX века

Ван Гога». Так завершился первый урок. Мы с товарищем возвратились домой очень грустные: ничему не научились, и вдобавок истратили почти все краски. Из уважения мы ещё пару раз сходили к маэстро, потом решили его покинуть.

Тем не менее, первая робость перед таинством красок прошла, и я почувствовал в себе силы работать самостоятельно. Однако я не приступил тут же к живописи; у меня было ещё много что сказать языком графики. На осеннюю выставку я послал серию рисунков, содержащих идеи для иллюстраций к «Божественной комедии» и «Золотому ослу»; после неё я решил оставить графику и начать рисовать красками.

Моя учёба, казалось, продвигалась очень хорошо и мама этим была довольна, так как преподаватели, читая моё имя в журналах, весьма меня уважали и позволяли делать всё, что доставляло мне удовольствие. Пользуясь таким расположением и не чувствуя настоящей тяготы от учёбы, я проводил время довольно весело. По вечерам часто ходил в кафе со своим приятелем Аладжаловым, с особой тщательностью задумываясь при этом о своей одежде, так что я заказал себе новый штатский костюм. Мы с приятелем считались самыми элегантными юношами в городе.



Разбитое белогвардейцами при отступлении кафе «Чашка чая». Находилось на углу Большой Садовой и Николаевского, на первом этаже дома Игнатенко, сейчас на этом месте здание Ростовэнерго. Ростов-на-Дону. 1920 г.

Жизнь протекала беззаботно, хотя шёл третий год войны и городские госпитали были полны больными и страшно изуродованными ранеными. Вздорожание продуктов и бедность населения грубо контрастировали с нахальным богатством эксплуататоров и спекулянтов. Каждый день с фронта и из столицы приходили тревожные известия. Москву, как и Ростов, наводнило множество дезертиров, авантюристов, проституток, заполнявших кафе. В гостиницах, пансионатах, домах невозможно было найти жилья, потому что всё было занято беженцами, прибывшими из западных областей, из Польши и Бессарабии. В школах, особенно в гимназии Зайцева, ощущалась эта неразбериха, и пользуясь возрастающей свободой, я начал серьёзно посвящать себя живописи под встревоженными взглядами мамы.

Домашним заданиям я уделял необходимый минимум времени, а вечера проводил в кафе «Чашка чая», открытом в пользу беженцев из оккупированных районов⁸⁴. В этом месте обслуживали барышни из лучших городских семейств. Оно также стало прибежищем интеллектуалов, в глубине зала стоял большой стол, за которым собирались художники и

⁸⁴ Сеть благотворительных кафе, открытая в городах юга России.

критики для дискуссий о современной живописи и поэзии. Иногда оставались там до глубокой ночи. Во время одного из этих сборищ, холодным декабрьским вечером мы получили известие об убийстве Распутина.

Помню, как при этом вся элегантная публика вздрогнула, словно от удара электрическим током, а музыканты, исполнявшие отрывок из популярной оперетты Кальмана «Королева чардаша», перестали играть.

Это была первая искра русской революции.

Тучи сгущались, авторитет правительства пошатнулся, ропот недовольства доносился со всех сторон. Воздух был насыщен мрачными предзнаменованиями. Однажды вечером я пошёл со своим другом в варьете и, так как гимназистам в форме вход был воспрещён, мы оделись в штатское. Внезапно представление прервалось, публика стала перешёптываться, некий человек пробежал по партеру, поднялся на сцену и крикнул: «*Монархия пала! Да здравствует свобода!*» И сразу же зал наполнили звуки «Марсельезы», в то время как вскочившая на ноги публика бесновалась и ликовала.

Несмотря на поздний час по улицам прошла большая процессия демонстрантов. Меня, никогда до тех пор не интересовавшегося политикой, захватил вихрь энтузиазма, но в глубине души я был этому рад, поскольку поговаривали, что при новых порядках можно будет перейти в старший класс без экзаменов.

Я уже подготовил несколько полотен, чтобы послать на весеннюю выставку: это были кубистские картины. К этому направлению я был наиболее близок, потому что живопись импрессионистов с их густыми мазками, которую видел до этого времени, меня не интересовала. Мне хотелось создавать конструктивные картины, со строгой композицией, которые отражали бы архитектуру будущего и его механический динамизм. Я послал четыре больших полотна в кубистском стиле Брака на весеннюю выставку, и это стало настоящим откровением.

Меня стали называть футуристом, и все мои давние поклонники начали смотреть на меня с подозрением. В день открытия выставки я познакомился с маленьким господином, который объявил себя журналистом и моим поклонником и пообещал, что напишет статью о моей картине. Он представился как граф Амори⁸⁵, но его настоящее имя было Блюм. В России он уже был известен тем, что дописал по своей инициативе известный роман Куприна «Яма», завоевав таким образом любопытство



Кубизм Григория Шилтяна, «Девушка у окна», 1916 г.

⁸⁵ Ипполит Павлович Рапгоф (один из псевдонимов — «граф Амори») (1860–1918) — музыкальный критик и педагог, первый пропагандист и распространитель граммофонной записи в России, бульварный литератор, сценарист немого кино, мистификатор, авантюрист. Его биографии можно посвятить отдельную книгу. Описание «маленький господин» не совпадает с внешностью Рапгофа. Впрочем, многие описывают его совершенно противоположно. Почему Шилтян упоминает в качестве настоящей фамилии — Блюм, неизвестно. Может быть в Ростове Рапгоф представлялся под таким именем, возможна ассоциация между романами Александра Дюма «Граф Амори» и «Екатерина Блюм». Это отдельный детектив.



Граф Амори
(И. П. Рапгоф)

⁸⁶ Анастасия Алексеевна Вербицкая (1861–1928) – русская писательница, в её романе «Ключи счастья» (1909) открыто подана тема сексуальной свободы женщины. Можно представить, в каком духе было дописано продолжение графом Амори.

⁸⁷ Леонид Скляров – глава группы «Южные футуристы».

⁸⁸ Василий Васильевич Каменский (1884–1961) – поэт-футурист, один из первых русских авиаторов.

⁸⁹ Правильно Гольцшмидт, Владимир Робертович (1891?–1957) – называл себя «футуристом жизни», все современники вспоминают о его атлетическом телосложении и манере ломать доски о голову на выступлениях.

публики, в результате чего продал тысячу экземпляров. Воодушевлённый удачным исходом этого предприятия, граф Амори принялся «заканчивать» ещё один роман, «Ключи счастья» Вербицкой⁸⁶. Этот способ снискал ему не только определённую славу, но и хорошую дозу побоев, так что он благоразумно оставил Петербург и обосновался в Ростове.

Амори немедленно заинтересовался моей живописью и записал меня в надежды русского футуризма. Он пригласил меня в свой гостиничный номер и представил мне футуриста Склярова⁸⁷, шута горохового, уже известного мне внешне, поскольку я видел его расхаживающим по Садовой в женской шляпе с перьями и жёлтом халате, с лицом, раскрашенным красной краской. Таким футуристическим нарядом он намеревался бросить вызов буржуазным вкусам и привычкам, и поскольку во время революции многое позволялось, Скляров вместе с Василием Каменским⁸⁸ организовал в ростовском театре большой футуристский вечер, читая свои стихотворения, написанные на очень специфичном языке, которого никто, кроме него самого, не понимал.

Во время первой части вечера Скляров громко декламировал свои непонятные стихи с неопределённым размером; на вторую часть был заявлен «физический» поэт Гольцшмидт⁸⁹, который вышел на сцену с тачкой, нагруженной досками, и зрители помогали этому представлению: поэт брал эти доски одну за другой, ломая их у себя на голове. Это была «физическая поэзия», которая должна была удивить мир! В третьей части перед уже заведённой публикой, появился совершенно голый Скляров, с большим фиговым листком, вырезанным из картона, прикрывавшим голову. Так как он был в состоянии возбуждения, то несмотря на свои протесты, был арестован за непристойное обнажение. Это представление создало славу той группе футуристов, колесивших потом по всей южной России со своей фантастической программой.

Скляров пригласил меня для совместной работы над готовящимся большим футуристическим журналом. Он сказал, что уже нашёл мецената, покроющего расходы, своего рода ростовского Щукина, который потом даже покупал бы мои картины. Я был очень польщён этим приглашением и начал готовить рисунки.

Я весьма часто посещал Амори, обнаруживая в его номере много подозрительных личностей: встречались и проститутки, и мошенники, авантюристы разного рода, все себя называли футуристами. Стол был

заставлен бутылками, иногда возникал Скляр и декламировал стихи на дадаистском языке.

Шла зима, Россия переживала тяжёлые времена. Все говорили о большевизме и в будущее смотрели с тревогой.

В то время на Дону сформировалось автономное правительство генерала Каледина, главы казачества, не признавшего правительство Советов и провозгласившего независимую казачью республику со столицей в Новочеркасске. Но мой город был промышленным центром и рабочие не очень были рады подчиняться казакам, отчего в ноябре в пригородах Темерник и Батайск они поднялись на вооружённое восстание, сразу же жестоко подавленное казаками, прибывшими из Новочеркасска. На улицах время от времени возникала стрельба и я был вынужден пару дней оставаться дома взаперти, пока вновь не установился порядок.

Ситуация была очень неопределённой и смутной; говорили, что на Дон направлялась большая армия красных. Каледин рассчитывал на свои казачьи полки, весьма хорошо организованные и преданные ему. Ростов изобиловал беженцами с севера, среди которых было много офицеров, пришедших с фронта, где они ощущали большую опасность многочисленных солдатских мятежей. По правде сказать, меня не особо волновало то, что происходило вокруг в те беспокойные времена, поскольку в дни всеобщего сумбура гимназия была закрыта, и я мог свободно посвятить себя своему искусству.

Трагическая тень гражданской войны сгущалась всё сильнее и сильнее. Стало известно, что красные, наступающие из северных районов, столкнулись с казаками на границе их области. В Ростове начали организовывать белую армию во главе с генералами Алексеевым и Корниловым.

Буржуазные классы, что логично, были настроены против коммунистов, и даже считали их антинародной партией, заключившей сепаратный мир с Германией.

Улицы наполнились плакатами, призывающими молодых людей к службе в белой армии, и многие из моих друзей и одноклассников поддались этим призывам. Среди них был также и Коля Миролубов. С некоторых пор я его редко видел, даже немного растеряв нашу прежнюю

Откровение

Южного футуриста Леонида Скляра.

Мы—Леонид Скляр—южный футурист, объявляю, что мы возмели ожеланить свои желания и передать овцам стала нашего традици священного футуризма. Ишь вы смотряще на нас ошалёлыми глазами, всё вы свистящие и кричащие при виде нашего появления, всё вы улыбающиеся и молчащие, всё вы нашего глупого приличия, всё вы стоящие, сидящие, лежащие, всё летящие, бегущие и идущие—всё мы объявляем, что вы созданы солнцем для того, чтобы увидеть нас и умереть.

Внимайте нам, мы говорим! Изчезнет зловонная земля, потухнут электрическое солнце и вы, вы—грязь тверди и мох мгновенности,—вы уйдёте к смерти. Отъ зась ничего не останется.

И тной испарится и прах испепелится. Все изчезнет. Будет только мы—гении безумия и шары футуризма. Мы—Леонид Скляр—с своими учениками.



В. Каменский (впереди) и В. Гольцшмидт

дружбу: я уже не был эстетом, меня интересовала станковая живопись, а проблемы декадентского эстетизма казались преодолёнными и забытыми.

За несколько дней до отступления белых из Ростова я повстречал Миролюбова, обутого в сапоги и вооружённого винтовкой. Поверх гимназической формы висели два патронташа, на фуражке была лента белой армии, а в петлице – непременно белая гвоздика. На мой вопрос, откуда такой наряд, он просто ответил, что поступил на службу в армию белых. Возможно, романтическая фантазия снова заставила его жить атмосферой французской революции, поскольку он объяснил это так: *«Я роялист и собираюсь бороться с санкюлотами»*. Я пытался убедить его не совершать такой глупости, но казалось, эта идея им прочно овладела и ничто не могло заставить его изменить свое мнение. Миролюбов больше не вернулся.

Однажды вечером в двери постучали двое моих одноклассников: один из них был Старосельский, сидевший со мной за одной партой, другой Краковский, некоторое время совсем не появлявшийся в школе. Они были закутаны до неузнаваемости, и, закрыв дверь с большой предосторожностью, очень тихо, чтобы никто не мог услышать, прошептали мне на ухо: *«Сегодня мы бежим с другими учениками через линию фронта, чтобы присоединиться к Красной Армии. Пойдём с нами! Мы знаем, что ты не сможешь остаться с реакционерами!»*

Я безуспешно пытался отговорить их от такого рискованного предприятия, походившего на самоубийство.

Тогда я усилием воли решил замкнуться в себе, чтобы сохранять спокойствие и посвятить себя своей работе, в частности большой (два на три метра) композиции в виде группы купающихся на фоне кубистского города, задуманной под влиянием Дерена⁹⁰.

Как я уже говорил, была зима, и на Дону шли бои. Население ростовских предместий не чувствовало себя в безопасности; город днём и ночью проверяли патрули. Однажды стало известно, что некоторые казачьи отряды под руководством Подтёлкина⁹¹ взбунтовались и солидаризовались с большевиками. Сражения происходили с переменным успехом. Город переживал часы тревоги. А в один из дней распространилась новость, что генерал Каледин убит. Ростов с часу на час ждал прихода

⁹⁰ Андре Дерен (1880–1954) – французский живописец, график, театральный декоратор, скульптор.

⁹¹ Правильно Подтёлков, Фёдор Григорьевич (1886–1918) – один из руководителей революционного казачества.

красных. Однажды ночью на Садовой слышались странные глухие стуки: отступала белая армия, возглавляемая двумя генералами и состоящая по большей части из юношей от пятнадцати до восемнадцати лет, учеников гимназий и других городских школ. С приходом красных войск ожидали кровавых событий.

Мы жили в центре, но наше жилище было скромным, и, наверное, мою маму, вдову с тремя детьми, не сочли бы за капиталистку; другие родственники наоборот впали в панику. Дядя Мелконов жил в большом, недавно построенном на главной улице доме, который, по его расчётам, должен был составить славу городу. Здание было девятиэтажным⁹² и должно было включать синематограф, театр, кафе, магазины и т. д. Страх побудил его расстаться со своим роскошным домом и укрыться у нас. Другой дядя, с женой и сыном Львом, тоже переехали прямо к нам. Наоборот, мой кузен Георгий, брат Льва, учившийся в петербургском университете, был коммунистом и на несколько дней исчез из дома.

Наш дом наполнился гостями, в каждой комнате кто-то спал и это мне даже казалось забавным. В течение нескольких дней город оставался предоставлен самому себе, улицы опустели, никто не выходил из-за страха перед выстрелами, которые нарушали тишину то тут, то там, особенно в ночное время. Иногда мы высовывались из парадного посмотреть, что происходит снаружи, но сразу же возвращались. Окна и двери держали плотно закрытыми из-за боязни нападений и грабежей со стороны толп, собиравшихся в городе.

Взрослые были встревожены; иногда приходили страшные вести: говорили, что убиты некоторые известные в городе люди. Городом правила анархия, он практически оказался в руках бандитов и хулиганов.

Однажды утром, когда я смотрел из окна на пустынную, заснеженную улицу, то увидел, как перед одним из домов, стоящим в пятидесяти метрах от нашего, скопилась масса людей, угрожающе кричавших и размахивающих руками.

Там жил один мой знакомый, по имени Георгий, красивый двадцатидвухлетний парень, незадолго до революции мобилизованный на учения в звании лейтенанта, он носил великолепную военную форму и блестящие сапоги. Я помню, как он гордо прохаживался по Садовой, но



Дом наследников
Г. А. Мелконова-Езекова,
деда Г. И. Шилтяна

⁹² На самом деле дом был шестиэтажный (с надстройкой), во время Великой Отечественной войны разрушен, позже на его месте был построен дом, где находился кинотеатр «Буревестник».

война закончилась, прежде чем его направили на фронт, и его военная карьера свелась только к тем прогулкам.

Грозная толпа придвинулась к двери его дома: внезапно распахнулись створки и появилась дрожащая фигура Георгия с бледным как снег лицом, в окружении вооружённых ружьями и палками людей, которые выволокли его на улицу. Кто-то обвинял его в том, что он офицер.

Толпа выкрикивала угрозы всё громче и громче; круг сомкнулся, и я услышал несколько револьверных выстрелов, сопровождаемых страшным криком. В испуге я отпрянул от окна, но болезненное любопытство взяло верх, и я опять выглянул: толпа убиралась прочь, оставив на улице почти голый труп бедного юноши. Вскоре после этого из дверей вышла обезумевшая от горя женщина, которая бросилась к бездыханному телу: это была его мать. Не знаю, как долго ей пришлось стоять неподвижно на снегу рядом с трупом, потому что никто не осмеливался выйти из дома, чтобы утешить её или оказать помощь.

Красных в городе ещё не было. Моя тётя, спешно бежавшая из своего дома, и не взявшая с собой почти ничего, думала, что сможет послать кого-нибудь на свою квартиру, чтобы принесли несколько чемоданов с одеждой, прежде чем войдёт Красная Армия. Никто больше не рисковал выходить на улицы, но её сын Лев на это отважился, а я вызвался его сопровождать, несмотря на мамины протесты. Мы надели рваную одежду, рассчитывая, что, выглядя пролетариями, мы не подвергнемся какой-либо опасности.

Выйдя на улицу, мы направились к дядиному дому. Никто не расчищал снег, по улице ходили осторожные и плохо одетые люди, и мы старались идти с небрежным видом. Некоторые говорили, что красные готовятся войти в город со стороны Нахичевани; нужно было действовать быстро, чтобы не угодить к прибытию войск, что могло бы повлечь самый трагический исход. Мы пришли в дом дяди и нас впустил испуганный дворник; квартира была нетронута, и мы сразу нашли то, что нужно. Но моему кузену пришла в голову несчастливая идея – взять ещё из отцовского ящика револьвер, говоря, что было бы опасно оставлять его, так как если его потом найдут, то разгромят всю квартиру.

Положив оружие в чемодан с бельём, мы вышли обратно на улицу. За это короткое время обстановка резко изменилась, толпа волновалась и глядела на север, откуда доносились крики и рукоплескания. Внезап-

но в конце улицы появился кавалерист, который поскакал в нашу сторону, все с энтузиазмом его приветствовали, а некоторые даже падали на колени. Это был казак в каракулевой папахе, украшенной огненно-красной лентой, из-под которой торчал вихор волос, в руке он держал пику и, сидя на белом коне, казался мне гигантского роста, как святой Георгий на старинных иконах. Перед нашими глазами он промелькнул словно молния: это был первый казак-красноармеец. Галопом следовали другие, сопровождаемые криками толпы: *«Да здравствует Красная Армия, смерть буржуйам!»*

Мы попали в круговорот толпящихся, тяжёлый чемодан мешал нам двигаться. Внезапно нас чуть не затоптала лошадь, а её всадник посмотрел мне прямо в глаза и спросил: *«Что несёшь в чемодане?»* «Бельё», – ответил я дрожащим голосом, с ужасом думая о револьвере, спрятанном под одеждой. Если его обнаружат, то нас убьют на месте. Мне казалось, что всё кончено. Перед глазами у меня пронеслись образы моих родных, я понял, что пропал. *«Открывай чемодан»*, – скомандовал всадник. Я бросил поклажу на снег, и дрожащими руками мы с кузеном стали открывать её. Всадник поворошил своей длинной пикой в чемодане, но наш ангел-хранитель остановил его в миллиметре от револьвера; казак торжествующе поднял длинное древко, к которому прицепилась тётин юбка. Из толпы раздался смех, что нас и спасло. Эта сцена, похоже, позабавила конника, который крикнул нам: *«Проваливайте»*, и ускакал со своим интимным трофеем, болтающимся на пике.

Мы собрали всё, что рассыпалось, и, дрожа от пережитого, смогли вернуться домой, не рассказав никому об опасности, которой подвергались. Как только мы зашли, кузен вытащил револьвер и побежал бросить его в канализацию. С этого момента я на всю жизнь поклялся никогда не владеть оружием.

Красная Армия вступила в Ростов. Паника горожан показалась немного преувеличенной, потому что вскоре жизнь возобновилась в своём обычном ритме. За исключением некоторых трагических событий первых дней, всё начало разворачиваться почти нормально, вскоре снова открылись кафе и магазины.

На Кубани всё ещё шла борьба против крошечной Белой армии; на Украине процветала анархия. Почти везде железнодорожное сообщение



Белая армия под началом генерала от инфантерии Л. Г. Корнилова. Ростовский железнодорожный вокзал, 1918 г.

было прервано; города, в том числе Ростов, жили сами по себе, без связи с другими городами и столицей. Закрытая на какое-то время гимназия, где я продолжал учиться, открылась, но ненадолго; так что я мог полностью посвятить себя живописи. У себя в комнатке я заготовил несколько холстов разных размеров и выполнил несколько работ под влиянием кубизма. Моя большая картина с купающимися на фоне пейзажа была уже почти закончена. Ещё я создал серию натюрмортов, представляющих предметы размерами больше натуральных, с чайниками, скатертями, салфетками с искусственными кубистическими складками. Во всех этих работах я особенно почувствовал пластическую сторону, которая казалась мне наиболее интересным аспектом кубизма. Так что дал простор своей творческой жилке, готовя дюжину картин, которые сегодня на выставке посчитали бы авангардом.

Тем временем я жадно просматривал все художественные журналы, попадавшие в мои руки. В конце концов я думаю, что кубизм оказал на меня определённое благотворное влияние, заставив понимать и реальную форму. Однажды я увидел репродукции картин художника Евгения Зака⁹³, ставшего впоследствии известным в парижских кругах. Эти работы, несмотря на то, что они в определённой степени напоминали модернизированных Мориса Дени и Пюи де Шаванна⁹⁴, обладали, на мой взгляд, особым духом. Форма трактовалась с глубоким знанием рисунка и поразила меня своей поэтической интерпретацией. Ещё меня глубоко привлёк один художник, по имени Александр Яковлев⁹⁵. Это была новая звезда, взошедшая в Петербурге, и его рисунки сангиной были бесподобными по виртуозности и пластичности формы.

Его рисунки, а также его друга Шухаева⁹⁶, в истории современной живописи отмечались как важный момент: они не были неоклассиками, но продолжателями традиций великого реалистического рисунка, прерванных в период импрессионизма. Оба этих художника после революции переехали в Париж, где я с ними и познакомился. В Париже Яковлев поначалу получил большое общественное признание, но монпарнасскими критиками был отринут. Шухаеву не удалось даже заявить о себе и он жил в Париже в полной неизвестности. На Монпарнасе на них смотрели свысока и говорить об их живописи было почти моветоном.

Так эти два художника не смогли раскрыться и реализовать свои врождённые способности.

⁹³ Евгений (Эугениуш) Савельевич Зак (1884–1926) – польский и французский художник.

⁹⁴ Морис Дени (1870–1943) – французский художник-символист. Правильно – Пюи де Шаванн, Пьер Сесиль (1824–1898) – французский художник-символист.

⁹⁵ Александр Евгеньевич Яковлев (1887–1938) – русский живописец и график.

⁹⁶ Василий Иванович Шухаев (1887–1973) – русский и советский живописец, график, сценограф, педагог.

Я был очень впечатлѐн рисунком Яковлева, совершенство которого казалось мне недостижимым. С другой стороны, мне казалось, что я должен ещё что-то сказать языком кубизма.

Хотя я понимал, что продолжать идти вперѐд правильной будет по пути реалистической живописи, у меня был большой страх с ней столкнуться, потому что она мне казалась слишком сложной, учитывая мои возможности. Жизнь в Ростове в то время была очень неопределѐнной и тревожной. Наш дом был всё ещё полон людей, так как мои дяди не решались возвращаться в свои квартиры. По улицам ходили очень разношѐрстные толпы: большевистские комиссары в кожаных куртках с пулемѣтными лентами через плечо, матросы революционного Черноморского флота, чехословацкие солдаты и так далее. Кафе были переполнены, ночью стреляли со всех сторон. В городе было организовано объединение революционных художников во главе с Фѣдоровым; ожидалось многое, планировалось открытие выставок, музеев, академий и так далее. Местный Совет под председательством студента Сырцова⁹⁷ заказал нам портреты Маркса и Ленина и агитационные плакаты, которые мы раскрашивали темперой. В школу я больше не ходил. С утра я работал дома, во второй половине дня шѐл с Аладжаловым в кафе или к графу Амори, в его гостиницу. Тот мне шѐпотом признавался, что является лидером движения анархистов, которые планировали внезапное выступление, после которого они бы захватили город. Между тем была организована свободная ассоциация городских проституток, громадными плакатами на стенах объявившая о своём съезде, который прошѐл с большим шумом и завершился оргией.

Вечерами все продолжали запершись сидеть по домам, опасаясь как обысков, так и бандитских налѣтов, с тревогой прислушиваясь к любому шуму.

В один такой вечер, когда мы все собрались в столовой, услышался шум грузовика, ехавшего по улице и вдруг затормозившего перед нашим домом. Мы надеялись, что он продолжит движение, однако звонок колокольчика оповестил, что это к нам. Бледнея и дрожа, мы не осмеливались открыть дверь, пока наша старая повариха Наталья, работавшая у нас в течение двадцати лет, не решилась спуститься по лестнице и отпереть парадную дверь. Мы ожидали вторжения вооружѐнных людей. До нас донеслись мужские голоса и, внезапно, Наталья с дрожью в голосе

⁹⁷ Сергей Иванович Сырцов (1893–1937) – впоследствии известный советский государственный деятель, третий председатель СНК РСФСР (1929–1930).

объявила: *«Просят господина Гришу»*. Мама обхватила меня за шею от страха, что меня заберут и расстреляют, меня тоже трясло, но я надеялся выкрутиться благодаря портрету Карла Маркса, который я рисовал. Я спустился вниз и при свете крошечного фонарика узнал маленькую фигурку графа Амори при двух пистолетах за поясом, в сопровождении пары огромных матросов, вооружённых до зубов. *«Гриша, – вскричал Амори, – пошли с нами. Сейчас решающий момент; восстание анархистов началось; без тебя никак, вот тебе пистолет; пойдём атаковать французское консульство»*. Два гиганта повторяли: *«Пойдём с нами!»* Спорить было бесполезно, поскольку все они были пьяны. Я успокоил маму, которая смотрела, вся дрожа, с лестничной площадки и сказал ей: *«Это мои друзья, не волнуйся, я скоро вернусь»*. Я сел в грузовик вместе со всей бандой, и мы направились прямо к французскому консульству, находившемуся примерно в двухстах метрах от нашего дома. Битва не была кровавой; время было, когда консул уже ушёл, и испугавшийся сторож сразу открыл дверь. Главную цель экспедиции составляли несколько ящиков французского вина, о наличии которого в подвале знал Амори. На балконе консульства был водружён чёрный флаг с черепом, а в салоне началась неопишуемая оргия. Амори всё время кричал: *«Приведите подкрепление!»*, и его помощники уехали на грузовике, возвратившись с отрядом девиц из особого подразделения Амори. Когда после нескольких часов адского шума я увидел, что все анархисты обезврежены вином, попытался смыться и вернулся домой, где никто не спал и уже оплакивали меня, считая мёртвым. Анархистская республика Амори продержалась недолго. На следующий день красный комендант города решил её ликвидировать, прислав взвод солдат. Дом был окружён и обстрелян залпами в окна. Осаждённые ответили несколькими выстрелами из револьверов, но тут же сдались, потому что почти все были ещё мертвецки пьяны. Вскоре после этого мы увидели грузовик, увозящий Амори и его друзей в сторону тюрьмы. Больше я о нём не слышал. Потом мне сказали, что его расстреляли⁹⁸.

⁹⁸ Воспоминания Шилтяна подтверждают имеющиеся свидетельства об именно таком исходе последнего приключения графа Амори.

Приближалась весна, по городу циркулировали противоречивые вести. Связь с другими центрами была прервана, дошли слухи о восстании на Украине, но никто ничего не знал наверняка. Время от времени можно было видеть въезжающий в город грузовик с ранеными, но откуда

они поступали – было неизвестно; кто говорил о сражениях с белой армией на Кубани, кто говорил, что они пострадали от казаков знаменитого Петлюры. Но ничего определённого. Между тем я продолжал рисовать и готовился к весенней выставке. В доме тёти Усти⁹⁹, жившей недалеко от нас, тоже было несколько гостей, в том числе одна милая барышня по имени Ксения: говорили, что она дочь генерала, который находился на юге, с Белой армией. У моей тётки она жила уже в течение двух месяцев, и я решил сделать её портрет, потому что она мне нравилась, была умна и красива, хотя я так и не смог понять, кто она такая и откуда взялась: её окружала тайна.

Март подходил к концу, акации были в цвету¹⁰⁰, и мне ностальгически хотелось уехать в сельскую местность, но я даже мысли не допускал, что покину город. Приближалось время выставки, для которой я подготовил несколько картин и представлял, как их разместят на стенах. С каждым днём положение ухудшалось и уже слышался трагический грохот пушек, но никто не знал, откуда он доносится. Газеты не выходили. Однажды ночью мы услышали, как по улице прошла конница и как с глухим грохотом проехала тяжёлая артиллерия. Освещение отсутствовало. На следующий день все магазины закрылись, а канонады становились всё ближе и ближе. Мы сиднем сидели дома, не смея высунуть нос наружу. Говорили: «Город осаждён!» Но кем? Следующей ночью начался артиллерийский обстрел; некоторые гранаты упали на город, часть дня и всю ночь мы провели в подвале.

На рассвете опять все стихло. Мой кузен Лев и я вылезли из подвала и смотрели на улицу через закрытые окна. Слышалось ржание лошадей, вдали виднелось несколько всадников, но это были красные казаки. Внезапно бой ожесточился; наш дом вздрогнул от взрыва гранаты, и мы снова укрылись в подвале. Тут и там слышались взрывы бомб и звон разбитого стекла. Вдруг всё прекратилось и опять наступила тишина. Но никто из нас не осмеливался даже пошевелиться. Проходили часы, город казался вымершим, все двери и окна были закрыты.

В полдень мы ещё раз решили пойти заглянуть через щель в двери. Поскольку таким способом на улице что-либо кроме появляющихся и исчезающих испуганных лиц увидеть было невозможно, тогда, очень волнуясь, мы вышли. Кто ни встречался, все спрашивали одно и то же – что происходит. Шаг за шагом мы дошли до Садовой. Здесь неболь-

⁹⁹ Устинья Гавриловна Яблокова, урожд. Мелконова (1871–1956), жила в соседнем доме по ул. Дмитриевской, 95 (теперь Шаумяна, 51), похоронена на кладбище Тегель, Берлин (Р. Г. Красюков «Тегель. Русское православное кладбище в Берлине. СПб, 2009).

¹⁰⁰ Какая-то ошибка в хронологии, вряд ли в Ростове в это время цвели акации. Скорее, был апрель. Немцы (20-я запасная дивизия) вошли в Ростов 8 мая (25 апреля) 1918 г.

шие группы людей тоже, казалось, надеялись выяснить кто что знает. Внезапно кто-то закричал: «Идут!» Но кто? От края улицы слышались звуки духового оркестра. Члены моей семьи тоже вышли на улицу, чтобы дожидаться прибытия неизвестных. Рядом со мной была Ксения. Мелодия военного оркестра становилась всё более различимой, и с удивлением я узнал марш из «Тангейзера».

Тем временем медленным шагом приближалась серая стройная колонна, впереди неё на лошади ехал офицер в стальном шлеме и с моноклем в глазу. За ним – духовой оркестр и множество солдат, идущих тесными рядами, тяжёлым и уверенным шагом. У многих были очки и уставшие худые лица: это были немцы. От волнения у меня сильно стучало сердце. Я всматривался в лица солдат и офицера с моноклем. Рядом со мной рыдала Ксения Васильевна, бормоча: «*Бедная Россия, растоптана врагом!*»

Оккупация южной России немцами в 1918 году принесла кажущееся спокойствие. Действительно, им было далеко до гитлеровцев, это были хорошо дисциплинированные кайзеровские войска, не допускавшие никаких эксцессов, и больше всего прочего их заботило поддержание собственной безопасности и выжимание из населения провианта для голодающей Германии. Анархия разгулялась, никто не знал немцев и их приход для многих представлялся регулярностью, чистотой и порядком. И правда, даже жизнь города немедленно преобразилась; улицы расчистили, на площади играл духовой оркестр, поезда возобновили нормальную работу, так как вся Украина тоже была оккупирована. В Киеве установилось марионеточное правительство гетмана Скоропадского. В киосках вновь появились газеты, немецкие книги, а также художественные журналы, на которые я с готовностью набросился. Однако я в них вскоре разочаровался, так как по большей части там печатались репродукции Кандинского и экспрессионистов, повлиявших впоследствии на Парижскую школу¹⁰¹.

Город вернулся к своему нормальному облику мирного времени. Поскольку настало лето, террасы в кафе снова заполнились народом. В парках можно было послушать симфонические концерты, по улицам прогуливались суровые и напыщенные немецкие офицеры в мундирах, с неизменными моноклями.

Донской край был освобождён от Красной Армии, а главой казачьих частей, атаманом, был назначен генерал Краснов, германофил. Но

¹⁰¹ Условное название группы художников, в мас-се – эмигрантов, заявивших о себе в Париже в начале XX в.

Белая армия, которая ещё воевала в кубанских степях, продолжала считать немцев врагами, оставаясь верной своим бывшим союзникам. В это время ещё открылась тайна Ксении Васильевны¹⁰²: автомобиль с двумя русскими генералами остановился перед домом моей тёти, откуда через некоторое время вышла Ксения со своими чемоданами. Она также зашла и к нам домой попрощаться: поблагодарила нас и просто сказала: «Я – жена генерала Деникина».

Имя генерала уже было известно, хотя он ещё не командовал Белой армией. Деникин, недавно женившийся на своей молодой невесте, уехал с ней на Кубань, а когда генералы Алексеев и Корнилов погибли в бою, Деникин принял командование всеми белыми силами Европейской части России. Он был знаком с родственником моей тёти, Черновым, владельцем кубанских конезаводов, и, уехав в декабре прошлого года в свой опасный поход, укрывал у моей тёти супругу, пока не стало безопасно.

Между тем весной открылась ростовская выставка. Мои картины, занявшие целую стену, вызвали в городе удивление; можно было ожидать, что мои экстремистские работы будут презираться нашей аудиторией, но так не случилось. Экстремистское искусство никогда никого не шокировало, учитывая, что в период декадентства все хотели казаться оригиналами и интеллектуалами, не имея мужества отстаивать собственное противоположное мнение, так что «авангардные» экстремисты всегда считали тех, кто их поддерживает – снобами и слабоумными.

Если эта выставка, с одной стороны была триумфом моего кубизма, с другой имела эффект удара молотом, который уничтожил навсегда мои экстремистские устремления. Я давно чувствовал, что модернистские поиски для меня уже устарели, и выставка неизбежно и решительно это доказала. Большое влияние на меня оказали две картины художника Гринберга¹⁰³, только что вернувшегося из Петербурга, ученика знаменитого Александра Яковлева. Одна из них, поясной портрет его сестры, больше натуральных размеров, с цветком в руках на фоне скал, поразила меня неординарно изменённой формой, рисунком синтетическим и, в то же время, детальным, где объёмы и формы выделялись своей пластичностью. Другая была натюрмортом, на фоне домов, интерпретированных несколько в манере кубизма, но с большой убедительностью и



Таинственная Ксения

¹⁰² Ксения Васильевна Деникина, урожд. Чиж (1892–1973) – жена Антона Ивановича Деникина.

¹⁰³ Владимир Ариевич Гринберг (1896–1942) – российский советский живописец, график и педагог, представитель ленинградской школы пейзажной живописи, уроженец Ростова-на-Дону. Был не только другом Г. Шилтяна, но и наставником. Умер в блокадном Ленинграде от болезни и голода.



В. А. Гринберг

реальностью. Он также выставил рисунки и этюды с обнажённой натурой и головами, выполненные сангиной, форма которых выдавала много знания и мастерства. В этих работах я увидел нечто новое, и подумал, что усмотрел истинный путь, которым нужно следовать, прекрасно понимая, что моя рука не сможет выполнить такую тончайшую моделировку.

Несмотря на успех выставки мне казалось, что я почти не могу смотреть на собственные картины; иногда был соблазн забрать их домой и уничтожить. Но все меня поздравляли, называя новатором; среди прочих на выставку пришёл один немецкий офицер, о котором говорили как о большом знатоке искусства, он остановился перед моими картинами и, внимательно оглядев, воскликнул: «*Kubismus!*», начал давать комментарии и сказал, что опубликовал бы их в одном немецком журнале. Всё это меня раздражало вместо того, чтобы поддержать, потому что во мне происходила большая трансформация, и мне казалось, что я больше не могу смотреть на свою живопись. Я решил отказаться от всех модернистских тенденций и смиренно посвятить себя рисунку. Я познакомился с Гринбергом, ставшим моим лучшим другом.

Из каких соображений я решил отказаться от пути модернизма и посвятить себя реалистической живописи?

Несмотря на свои семнадцать лет я больше не был мальчиком; я уже жил насыщенной жизнью, несколько раз заглядывал смерти в глаза, и если не знал радостей жизни, то не делал из этого трагедии. Я прошёл через опыт эстетизма, но теперь хотел с решимостью обратиться, забыв прошлое, к истокам настоящей живописи. Что на самом деле подтолкнуло меня к этому, потом я это понял, — любовь к видимому миру, который очаровывал меня формами и их разнообразием. Возможно, внесла свой вклад уайльдовская эстетика, развившая во мне любовь к совершенным лицам, красивым очертаниям, очаровательным городам, воспетым моими любимыми поэтами, но только не любовь к декадентскому гедонизму.

Я мечтал о парижских улицах и кафе, итальянских площадях и памятниках. Я отрёкся от предыдущего опыта, чтобы перевести эти свои мечты в реалистичную видимость живописи, и учился у Гринберга. Я начал рисовать правду просто и честно, с утра до позднего вечера.

По утрам я рисовал натюрморт, состоящий из железной кухонной утвари, медных тарелок, ножей, чугунных кастрюль. Создавая эту ком-

позицию, я хотел добиться абсолютной архитектоники, решимости воспроизводить всё с максимальной точностью в деталях и довести всё до конца, даже если это стоило бы мне десяти лет работы. Гринберг давал мне хорошие советы, но руки меня не слушались, были жёсткими и тяжёлыми. Задуманное не удавалось, что невероятным образом причиняло мне страдания.

В неистовстве интенсивных занятий я чуть не забыл, что продолжаю учиться в гимназии, но на помощь мне пришла революция. Чтобы решить острую проблему избавления от обременительных занятий с учениками, добрый профессор Зайцев решил выдать каждому аттестат и устранить таким образом все препятствия.

Однажды, вскоре после прихода немцев, я встретил на улице своего одноклассника, который спросил меня: «*А ты ещё не ходил за аттестатом?*» Это меня удивило, потому что всё время, пока я не делал домашние задания, не посещал школу, занятия, экзамены, мне в страшных снах снились учителя. Я не заставил приглашать себя дважды и, придя в гимназию, нашёл профессора Зайцева, который выдал мне законный аттестат со словами: «*Вас увидеть можно только по большим праздникам!*»

Я вернулся домой с триумфом, к великому удовольствию мамы, и в угоду ей записался на юридический факультет в Ростове. Мама боялась моей художественной карьеры, и, наверное, мечтала, чтобы я пошёл по стопам отца.

Поскольку посещение лекций в университете не было обязательным, я мог посвятить себя искусству. Я ставил будильник на шесть утра, сразу приступал к работе над своим натюрмортом, продолжая до вечера. Потом шёл домой к Гринбергу, где мы рисовали обнажённого мальчика, после чего выходили, рассуждая в сумерках о Голландии, Вермеере, Италии, Караваджо и проблемах формы в живописи.

Я полностью порвал с модернизмом и начал жадно изучать старых мастеров. Я больше не посещал кафе, оставил все претензии на элегантность в одежде и читал вечерами книги по истории искусства и философии. Все современные репродукции, висевшие на стенах моей комнаты, я снял и заменил их репродукциями старых мастеров, которые я получил, расчищая ростовскую библиотеку. Поездка в Италию постепенно становилась навязчивой идеей. Я прочитал всё, что её касалось, начи-

¹⁰⁴ Ипполит Адольф Тэн (1828–1893) – французский философ-позитивист, эстетик, писатель, историк, психолог. Создатель культурно-исторической школы в искусствознании.

¹⁰⁵ Павел Павлович Муратов (1881–1950) – русский писатель и искусствовед, переводчик и издатель.

¹⁰⁶ Достопримечательности Рима (два первых) и Флоренции.

¹⁰⁷ Франсуа Адриен Буальдьё (1775–1834) – французский оперный композитор.

¹⁰⁸ Даниэль-Франсуа-Эспри Обер (1782–1871) – французский композитор, мастер комической оперы.

¹⁰⁹ Луи-Жозеф-Фердинан Герольд (1791–1833) – французский композитор, наиболее известный как автор музыки к балету «Тщетная предосторожность».

ная с «Путешествия в Италию» Гёте, Тэна¹⁰⁴, Стендаля, а также нашего Муратова¹⁰⁵. Не думал ни о чём, кроме площадей и памятников Италии, фонтанов и дворцов Рима, тосканских пейзажей; под руками держал топографические карты городов, которые мне нравились, и учил наизусть имена улиц. Я прекрасно знал, как пройти от Пьяцца Навона до Кампо деи Фьори или от Понте Санта Тринита до Кьеза дель Кармине¹⁰⁶. Ночью мне снились галереи и музеи Европы и мне казалось, что я отдал бы жизнь, чтобы увидеть полотна старых мастеров.

От всего остального я отвлёкся и перестал обращать на него внимание, до галлюцинаций поглощённый своими идеями. Единственное, что кроме живописи до сих пор меня интересовало, была музыка, и я просил младшего брата Котю играть мои самые любимые произведения, пока я вечерами работал или читал. Я всегда имел страсть к музыке с самого далекого детства. Помню, когда я был ребёнком четырёх или пяти лет, а мама играла на пианино в нашей гостиной романсы Денца или Глинки, они меня зачаровывали. Позже я посещал концерты в парках, наслаждаясь классической музыкой. Другим важным фактором моего музыкального образования был кинематограф, куда ходил я весьма часто, предпочитая фильмы «полицейские».

Не знаю из каких соображений, во время их показа всегда исполнялись увертюры девятнадцатого века, но они оставались впечатлением, как неотъемлемая часть фильмов, которые мне нравились. После каждого сыгранного отрывка я бежал к дирижёру оркестра, чтобы спросить у него название и, таким образом, выучил почти наизусть все увертюры Буальдьё¹⁰⁷, Обера¹⁰⁸, Франца фон Зуппе, Герольда¹⁰⁹, Келлербеллы¹¹⁰, Адана, Россини и т. д. Я обучался музыке, и даже ходил в музыкальную школу, но, как я уже говорил, меня раздражала необходимость коротко обрезать ногти, чего требовали мои преподаватели.

Мой брат Котя¹¹¹, которого я обожал, обладал почти невероятными способностями к музыке. Он был на семь лет моложе меня, с большими чёрными глазами и маленькими руками; он тоже ходил в музыкальную школу, но вскоре сделал такие успехи, что в дополнение к своим обычным упражнениям мог уже играть на пианино всё, что мне нравилось. Я купил целую библиотеку увертюр и сонат, и по вечерам, пока я читал, Котя играл со страстью всё, что я его просил, пробегая по клавишам своими ручонками, такими маленькими, что в самом деле не знаю, как ему

удавалось брать аккорды. И каждый вечер я мечтал о колоннах и лаврах виллы Чимброне¹¹², слушая чудесную увертюру к «Титусу»¹¹³ Моцарта, которая, быть может, одна из самых удивительных опер божественного мастера с её классической красотой.

Мы оказались в гуще значительных событий, лето проходило в Ростове, занятом немцами.

В булочных продавались сладости и белый хлеб, а в парках играли духовые оркестры. Белая армия на Кубани окрепла под руководством Деникина, но в ноябре 1918 года было подписано перемирие, и немцы, проигравшие войну, в одну ночь вдруг бесследно исчезли.

Опять приближалась гражданская война.

Управление Ростовом перешло к Белой армии, которая организовала новое правительство. На Украине после ухода немцев то здесь, то там, до сих пор загорались революционные вспышки и Красная Армия возобновила наступление.

Ростов стал центром Белой армии, но город всё равно был полон тревоги. После смерти генералов Алексеева и Корнилова командование перешло к Деникину, который основал свой штаб в Ростове. В доме одного моего родственника дали большой приём в его честь. Были приглашены все городские власти и известные люди. Были и мы с мамой, и я с любопытством наблюдал за массой генералов, известных беженцев, представителей высшей капиталистической буржуазии Петербурга. Проносилось много тостов, в конце которых лично встал Деникин и сказал: *«Господа, я должен вам сообщить большую и радостную новость: я только что получил известие, что наши уважаемые союзники высадились в Новороссийске; мы больше не одиноки, я получил гарантии того, что будет предоставлена всяческая помощь для борьбы с общим врагом, большевизмом. Так что наша победа обеспечена!»*

Я наблюдал за его лицом, немного пухлым, мягким, которое необъяснимо выказывало даже некоторые признаки слабости, и меня одолевали серьёзные сомнения. Я был ещё юношей, но может быть дело в том, что молодые чувствуют гораздо больше, чем взрослые. Нам всем было ясно, что эти генералы, возможно честные, но наивные, не до конца понимали, что значит русская революция. Они верили, что борются против анархистов или обычных смутьянов, не понимая глубинных причин движения, интеллекта и воли возглавлявших его людей. Все эти высшие



Шилтов Константин Иванович (1905–1941), брат Г. И. Шилтына, композитор. В семье его звали его Котей.

¹¹⁰ Имеется в виду Бела Келер (1820–1882) – австро-венгерский дирижёр и композитор.

¹¹¹ Константин Иванович Шилтов (1905–1941) – младший брат Г. Шилтына, в 1934 г. поступил в Московскую консерваторию по классу композиции. Ученик В. Я. Шебакина, однокурсник Ваню Мурадели. Ушёл добровольцем на фронт, где и погиб в 1941 г. Если верить архивной фотографии, он был на пять лет младше автора.

¹¹² Вилла Чимброне – историческое строение, датированное по меньшей мере XI веком и расположенное в курортном городе Равелло.

¹¹³ Имеется в виду опера Моцарта «Милосердие Тита», 1791 г.

офицеры, рассуждающие о либерализме, демократии, родине не понимали исторического смысла событий, словно стремительный поток, опрокинувших Россию.

Деникин роковым образом попал в руки авантюристов, присваивающих лавры и победы, но воевавших подобно средневековым наёмникам, без какой-либо идеологии, извлекая выгоду из ситуации. От ранних конституционных лозунгов Белой армии он скатился к самой мрачной реакции: текущим призывом стал «бей жидов, спасай Россию», означавший простой возврат к «чёрной сотне¹¹⁴» самого тёмного царизма.

Постепенно, с помощью союзников, Белая армия начала восстанавливать устои, торжественно провозгласив законное правительство России, воюющее за освобождение от красных. Поэтому была объявлена мобилизация для всех сословий, включая и моё. В России во время больших войн гимназисты не призывались, но в наиболее серьёзные моменты таких исключений не допускалось.

Однажды вечером, идя по улице с моим другом Гринбергом, я встретил бледную и расстроенную маму, показавшую мне газету с объявлением о всеобщей мобилизации. Следовало явиться в течение десяти дней; неисполнение этого каралось суровыми мерами. Я сразу обзвонил своих друзей, глубоко расстроенный новой бедой: военной службой, войной, фронтом, вагонами, полными вшей, в то время как моя голова была полна мечтами и видами Италии! Белые меня интересовали даже меньше, чем коммунисты, и слова пропаганды о верности обязательствам и т. п. казались мне глупым анахронизмом.

На следующий день мы с друзьями собрались на что-то вроде совещания, и поскольку все были детьми из привилегированных семейств города, то полагали, что препятствия, как всегда, были относительными. После некоторых поисков, с помощью одного из моих родственников мы нашли врача, готового за определённую сумму признать нашу инвалидность по крайней мере на шесть месяцев. Чтобы обеспечить видимость правдивости его заключений, врач посоветовал нам три дня не есть, не пить и много курить. Так, в моём доме, в течение трёх дней продолжалось веселье, после чего мы бледно выглядели и отменили явку, получив обещанные шесть месяцев инвалидности. Таким способом уклонилась половина студентов, и с некоторой озабоченностью я понял, что должно

¹¹⁴ «Чёрная сотня» — крайнее правое политическое течение, оголтело антисемитское (Прим. авт.).

было быть своего рода соглашение между всеми этими не очень честными полковниками, дававшими отсрочку по многочисленным справкам.

Борьба тем временем продолжалась; белые наступали на всех фронтах, приближаясь к Москве, с каждой победой становясь всё более высокомерными и дерзкими. Город наполнялся пьяными офицерами, вернувшимися с фронта, а за ними – чередой спекулянтов и лихоимцев. Каждый день выходили новые декреты и распоряжения об очередной мобилизации, потому что большая протяжённость России требовала как можно большего количества мужчин. Трюк с поддельными справками, продаваемыми студентам, был раскрыт и в один злосчастный день мы прочли приказ, что все новобранцы должны явиться завтра к десяти утра для осмотра, под страхом смерти. Я прочитал этот указ вечером и в ужасе дрожал от того, что снова должен оторваться от своего любимого натюрморта. Я сразу позвонил своему другу Гринбергу и поэту Маргулису, жившему по соседству со мной, чтобы на следующее утро идти вместе в окружной призывной пункт. Всю ночь я не смыкал глаз. Меня глубоко возмущала идея тупо закончить жизнь в водовороте гражданской войны, в крови и резне.

Я решил не явиться, каковы бы ни были последствия такого шага. Но в семь часов утра мои друзья стояли у дверей, и мы траурным шагом отправились в округ. Они хотели убедить меня, что ничего нельзя поделать, но я колебался. Подойдя к казарме, я сказал своим друзьям, хотевшим войти, чтобы они немного подождали.

Это был голос подсознания, который мне помог. У входа в округ я увидел, как студенты проходят перед двумя часовыми, будто овцы на заклание, чтобы более не выйти. Я тянул время, чтобы посмотреть, что случится с другими. Между тем мы прохаживались по тротуару на противоположной стороне улицы. Отец уже зашедшего мальчика сказал: *«Я был внутри, разговаривал с офицером; вас пошлют в Новочеркасск для ускоренного обучения, а потом сразу на фронт. Ничего не поделаешь!»*

Мои друзья всё ещё намеревались зайти, потому что слишком боялись последствий, и их пугала мысль об облавах на дезертиров в городе. Было без пяти десять. Мои спутники почти убедили меня, и мы уже переходили дорогу, когда между нами и воротами проехала повозка с сеном, что на мгновение не позволило пройти.

В этот момент я заявил: «Я не пойду с вами; лучше быть расстрелянным у себя дома, чем служить в качестве пушечного мяса!» А мои друзья, колебавшись, последовали за мной и правильно сделали, потому что спустя два месяца всех пришедших тогда ребят послали на бойню под Харьков, и никто из них не вернулся.

Возвращаясь домой, дрожащие и испуганные, мы отдавали себе отчёт в том, что поставили себя в безвыходную ситуацию, потому что тем, кто так и не появился, грозила смертная казнь. Однако, моё решение было окончательным, и я утвердился в своей решимости бороться любым способом, чтобы защитить свою свободу.

Я перестал выходить из дома, думая день и ночь над возможным решением. Мама хлопотала в поисках родственников, могущих иметь какое-либо влияние среди белых, насчёт поддержки и помощи в решении этой серьёзной проблемы.

Наш знакомый, хорошо нажившийся в те смутные времена инфляции, был другом одного из командиров, сделавшего быструю карьеру авантюриста, дойдя от простого лейтенанта кубанской армии до звания генерала.

Этот наёмник, известный своими зверствами, появлявшийся на людях всегда в окружении телохранителей, наводил ужас на всё население. Его фамилия была Шкуро¹¹⁵.

В те дни, на мою удачу, он находился в Ростове и пировал в доме нашего знакомого, перед которым у него были какие-то обязательства спекулятивного характера, из-за чего он мог легко сделать для меня одолжение. Действительно, он сделал мне предложение работать в качестве писаря в полевом госпитале, располагавшемся сейчас в нашем городе. Этот вариант меня спас, дав месячную передышку. Конечно, никто не стал бы долго держать писаря, физически здорового, но смысл был в том, чтобы выиграть время.

Меня заставили облачиться в форму, и каждое утро точно в семь я должен был являться в контору, где штат состоял в основном из пожилых людей, не подлежащих военной службе, ненавидевших меня за то, что мне удалось проникнуть в их царство. Но у меня возникла блестящая идея и, как и в других случаях моей жизни, меня спасла живопись. Начальник госпиталя дал мне фотографию Шкуро в форме, с кучей медалей на груди, и не говоря никому ни слова, я начал большой портрет маслом.



А. Г. Шкуро

¹¹⁵ Андрей Григорьевич Шкуро (1886–1947) – русский военный деятель, кубанский казак, офицер, генерал-лейтенант, позже группенфюрер СС. Казнён в Москве в 1947 г.

Я уже закончил голову, но руки и мундир оставались по-прежнему не завершены. Пребывание в госпитале длилось всего три месяца, после чего я должен был отправиться на фронт, но я надеялся, что генерал, увидав картину, оставит меня на моей должности, чтобы успеть закончить её. В конечном счёте так и получилось. В августе, после взятия Харькова, генерал вернулся в Ростов с бесчисленными трофеями и большой добычей, в том числе несколькими вагонами продовольствия, которые немедленно были проданы на чёрном рынке. Через начальника, с которым за это время мы успели подружиться, я показал картину генералу, тот воспринял её с энтузиазмом, однако пожаловался, что медали не были хорошо прорисованы. На это я ответил, что не смогу закончить их, поскольку должен отбыть на фронт, но если мне предоставят отсрочку ещё на месяц, тогда они будут исполнены одна в одну. План удался в совершенстве, и мне достался ещё месяц благодати даже без обязательства ходить в госпиталь, чтобы посвятить больше времени громадному портрету, работая дома.

Поскольку белые после взятия Харькова быстро наступали на Москву, я считал, что окончание боевых действий могло бы совпасть с окончанием работы над картиной, и таким образом для меня бы кошмар войны закончился. Поэтому я жил обычной жизнью в домашней обстановке, спокойно посвятив себя работе.

Два моих товарища, бывших со мной в то утро в округе, тоже спаслись: одному из них с фальшивым паспортом удалось бежать в Грузию, а другой, серьёзно заболевший, на некоторое время был признан непригодным для строевой службы. Несмотря на это, моя душа не была спокойна.

Белые после каждой своей победы становились ещё надменнее и вконец распустились, проводя время в оргиях и занимаясь спекуляциями. Объявив снова всеобщую мобилизацию, они рыскали по всему городу в поисках пригодных к службе мужчин, чтобы сразу отправлять их на фронт. В этом беспорядке одни инстанции не признавали документы, выданные другими; поэтому было разумно вообще не выходить на улицу, а сидеть сиднем дома. Жизнь протекала в атмосфере коррупции и тошнотворного разложения.

Для меня всё это казалось кошмаром: я возненавидел город, солдат, войну и тревожные новости с фронта, проводил осенние вечера в

прострации, лёжа на диване в гостиной, в то время как мой брат Котя играл на пианино самую красивую музыку Моцарта. На улице начинало холодать и свистел ледяной ветер, возвещая о наступающей зиме; иногда слышались выстрелы. Мне казалось, что больше не могу жить в таких условиях: вокруг меня не было ничего кроме крови, насилия, всех ужасов гражданской войны.

Днём непрерывно слышался похоронный звон и каждый час нас ужасали известия о расстрелах и резне. Но всё же я думал о форме, цвете, совершенстве рисунка. В то время я был напитан произведениями Ницше и Сореля¹¹⁶, внушавшими мне, что для достижения своего идеала необходимо отложить любые сомнения, тогда все препятствия будут преодолены. Между тем, во мне созрела идея покинуть свой город, свой дом, чтобы убежать подальше от этого мрака и направить свои стопы, даже в буквальном смысле, навстречу свету Италии.

В конце октября красные отвоевали Харьков и устремились к Ростову. Белая армия была деморализована, и её лидеры пытались контролировать ситуацию в тылу с помощью террора. В поисках мужчин осматривали дом за домом. Делать портреты с генералов к успеху более не привело бы. Я понял, что гражданская война может продолжаться долго, а для меня больше не было путей спасения и в скором времени меня бы бросили в кровавую бойню. Поэтому в моём мозгу категорически и решительно созрел чёткий план бегства: я собирался достать фальшивые документы и с ними добраться до какого-нибудь черноморского порта, где неважно как сяду на пароход в Константинополь, а оттуда в Европу. Мама тоже понимала необходимость моего отъезда, потому что мой возраст подвергал меня разным серьёзным опасностям.

Но даже если мама не была в этом уверена полностью, а опасности, которым я мог подвергнуться, были не такими значительными, моя одержимость так всё преувеличивала, что я совершил невозможное, убедив бедную женщину в том, что уеду в любом случае. Она терпеливо и кротко выслушала мои планы, не решаясь их оспаривать, так как была готова пойти для меня на любые жертвы.

Шла трагическая и мрачная зима, красные быстро приближались. Город был охвачен безумной паникой; вся буржуазия бежала из Ростова, в спешке бросая всё своё добро; город кишел беженцами, прибывающими с севера, спасаясь от наступающей Красной Армии.

¹¹⁶ Жорж Эжен Сорель (1847–1922) – французский философ и публицист, анархо-синдикалист.

Билеты на поезд достать было невозможно, но разве только это, трудно было даже добраться до станции, где платили невообразимую цену за возможность забраться на крышу вагона. Надежда уехать становилась всё более призрачной и казалось, что мне уже никогда не удастся покинуть город. Я корил себя за собственную нерешительность прошлой осенью, когда я мог уехать с большей лёгкостью, но теперь всё с каждым днем отчаянно усложнялось. Ростов охватил ужас. Говорили, что на окраинах уже слышны пушки, а на Садовой и в центре зловеще качались на столбах тела повешенных, с табличкой на шее: *«Повешен за дезертирство»*.

Освещения не было, все бдели в домах при слабых огоньках свечей, которые становились всё дороже и дороже. Я не мог произнести ни слова, потому что голова у меня бурлила всеми возможными проектами и программами бегства.

Мама с горечью глядела на меня, не имея смелости спросить, что я задумал. Моя цель была тверда. Мнение о себе, как о «сверхчеловеке» побуждало меня переступить через любую сентиментальность, и я, конечно, не колебался оставить всю семью. Я связался с некими двуличными типами, что за деньги снабжали поддельными документами, и с помощью одного полковника сумел получить «командировку» в один из черноморских портов, где я должен был подыскивать жильё для его полка.

Эта «услуга» стоила десять тысяч рублей, но мама без колебаний их дала, хотя лишиться такой суммы составляло для неё большую жертву. Более тяжёлой проблемой и почти неразрешимой задачей было уехать из Ростова из-за огромной толпы, окружившей станцию в надежде добраться до поезда. Вереницы людей пешком уходили через замёрзший Дон, чтобы попасть на противоположную сторону.

Было 20 ноября 1919 года, роковой день моей жизни. Сквозь свист ледяного ветра слышались выстрелы, доносившиеся с окраин. С наступлением темноты я вышел из дома, чтобы отправиться на поиски новостей, и случайно встретил начальника своего госпиталя, который мне сказал: *«Сегодня с товарной станции в трёх километрах от города отходит поезд с тяжелобольными, если хочешь уехать, я могу дать тебе разрешение на передвижение и вход на перрон»*. Поскольку я ответил утвердительно, мы вместе пошли в военный госпиталь, уже эвакуированный, где составили документы с законными печатями и подписями.



Мама Григория Шил'tяна, Акулина Гавриловна Шил'tова (урожд. Мелконова-Езекова).

Я вернулся домой, волнуясь перед самым решительным шагом моей жизни, представляя себе, что буду оторван от семьи на срок, не превышающий шести месяцев, или, в крайнем случае, года, поскольку думал, что гражданская война дольше не продлится. Но это ложное убеждение подкрепляло мою силу воли, в то время как подсознание, наоборот, предчувствовало, что этот разрыв может оказаться окончательным. Это было как по собственной воле навсегда вычеркнуть самых дорогих людей из головы и сердца, оборвать все связи с ними, обрубить концы, убежать к идеалу неизвестному и, возможно, эфемерному или недостижимому.

Почти наступила ночь и возбуждение не давало мне произнести ни единого слова. Я в последний раз прилёг на диван в нашей столовой, пытаюсь собраться с мыслями и остудить рассудок, так как мучительные сомнения одолевали меня со всех сторон. Моя одержимость всё пересилила, и я решил уходить. Резко поднявшись, сказал маме: *«Я должен сегодня вечером вас покинуть, больше терять времени нельзя, через час всё должно быть готово: необходимые документы у меня уже есть»*. Мама с тревогой смотрела на меня широко раскрытыми глазами, в то время как горячие слёзы выдавали её волнение, и глухим голосом сквозь плач она сказала мне так: *«Если это нужно, уезжай; ты ведь мужчина»*.

Мои брат и сестра ошеломлённо смотрели на меня. Света не было, мы собирали чемодан при свечах; дети плакали, а мама молча собирала и укладывала мои вещи.

Вскоре всё было готово. Я походил на лунатика и смотрел в лица моих близких, пытаюсь заглушить эмоции и собирая волю в кулак, отвлекая себя мыслями о том, что свечи придают сцене сходство с картинами «Ночного Герардо»¹¹⁷. Было девять часов вечера. Мы хотели поужинать вместе в последний раз, но никому кусок не лез в горло.

В какой-то момент появился Иван, старый дворник, служивший у нас много лет, он должен был нести мой багаж, со словами: *«Готово, барин, пойдёте»*. Я обнял плачущих брата и сестру и спустился вниз по лестнице в сопровождении мамы, которая держала в одной руке керосиновую лампу, защищая другой рукой её от ветра.

В дверях в последний раз у меня сжалось сердце: её лицо побледнело, плакать она перестала, но смотрела на меня своими большими, широко раскрытыми глазами, которые запомнил навсегда. Иван взвалил

¹¹⁷ Геррит ван Хонтхорст (1590–1656) – нидерландский художник, за мастерство изображения ночных сцен при свечах получил в Италии прозвище «Ночной Герардо».

чемодан на плечо и вышел первым на снег. Я обнял маму ещё раз и шагнул в темноту. Мама осталась стоять в дверях. Шагов через двадцать я обернулся, но сквозь темноту увидел только слабый свет лампы. В тот миг меня подмывало вернуться в мамины объятия, но я решительно продолжил путь.

Через некоторое время я вновь обернулся, маленький огонёк ещё светился. С каждым разом, когда я поворачивался лицом к этому отблеску, он становился всё слабее и слабее, пока не исчез совсем. Всё было кончено. Но и по сей день случается, что нет-нет, да и мелькнёт тот огонёк перед моими глазами, и тогда сердцу становится больно.

Всю свою жизнь задаюсь вопросом, правильно ли я сделал, покинув свой дом и Россию. Это трудное решение повлияло на всё моё дальнейшее существование. Не слепой случай, подтолкнувший меня к одному из возможных решений вместо другого, а моя воля, мой свободный выбор.

Много раз спрашиваю себя, что было бы, если бы я остался. Вполне возможно, что опасность, которой я подвергался, была подсознательно преувеличена. Возможно, одержимость увидеть Запад была поводом для оправдания моего ухода из отчего дома. Сейчас я убеждён, что покинув свою семью, подвергался на самом деле большему риску, чем если бы остался в круговерти гражданской войны и неопределённости. Репрессии красных могли представлять серьёзную угрозу для капиталистов или для белогвардейцев, но не для меня, сына семьи интеллигентов. Даже в будущем, мои стремления к реалистической живописи могли найти в России более благодатную почву, нежели в Западной Европе, по-прежнему находящейся в тисках так называемого «авангардизма». В России даже в те годы сохраняли любовь к хорошему реалистическому рисунку и поклонялись ему, в том числе среди московских и ленинградских художников. Тогда я мог бы найти подходящую основу для своего художественного образования, в то время как в Европе реализм был под запретом, и по сию пору мне приходится бороться против приверженцев так называемой монпарнасской школы. Но разве мог я жить в атмосфере революции и трагических потрясений, от которых земля дрожала под ногами? В атмосфере, которая парализовала все мои жизненные силы в том возрасте, когда моё развитие требовало горячих стимулов для вдохновения и труда?



Отсюда, в последний раз...

Революция означает разрушение форм прошлого: напротив, художник вообще любит формы, уже заключённые в жизни, любит обычай и выражение традиционной цивилизации; теперь в России было полно созидательного труда, я бы сказал скорее поиска той формы жизни, которая позже сможет материализоваться. Если бы я уже был зрелым человеком и художником, хозяином своего выразительного языка, я мог бы остаться, уверен, что ничего не изменилось бы во мне; если бы я был моложе, я бы вырос в атмосфере революции. . .

Но я, ещё не старик, но уже не мальчик, постоянно стремился к тому миру, о котором интуитивно догадывался, и который был необходим для моего художественного и духовного становления. Я бы увял, подобно растению без питания, как это случилось с рядом моих друзей, которых сожрала ностальгия по такому миру, привлекавшему к себе с такой силой. Возможно, так и случилось бы, возможно я ошибаюсь. Тем не менее, моя судьба, моё странствие были отмечены моей волей, а не слепой и мгновенной случайностью...

Уверенным шагом я шёл к станции, а за мной тащился бедный Иван с чемоданом, по мокрому снегу пустынной Садовой. Дул ледяной ветер, крошечную темноту и тишину вокруг нарушали небо, зловеще краснеющее на краю горизонта, и случайные выстрелы. Мы проходили мимо фонарей, на которых качались повешенные с табличками на шее «*повешен за дезертирство*», трагическое предупреждение и для меня; но я избегал смотреть на них. Время от времени встречались личности, направляющиеся на вокзал и везущие свои пожитки на тележках. Станция была заблокирована большой толпой, сдерживаемой патрулями. Нам пришлось её обогнуть и идти ещё километра два, до участка, где стояли военные эшелоны. Наконец, после долгого пути мы достигли цели. Дорогу опять перегородили солдаты. Здесь я отпустил старика Ивана: «*Передай ещё раз маме привет, — сказал я ему, — и успокой её, скажи, что через полгода я вернусь*».

Я предъявил пропуск, взвалил чемодан на плечо и пошёл вслепую через лужи и снег искать поезд. Наконец я его нашёл: он принадлежал 5-й Кавказской армии, к нему были прицеплены вагоны с тяжелоранеными из нашего госпиталя.

Я представился командиру, который тут же включил меня в состав персонала, подчиняющегося воинской дисциплине, что исключало

всякое бегство. Поезд был полон больных, врачей, офицеров, так что было почти невозможно войти в вагон; каким-то образом я протиснулся через людей, нерешительно остававшихся на площадке, так как у меня имелся точный план. Меня сдавили со всех сторон. Одним плечом я чувствовал тяжесть прислонившегося казака, другим – бёдра и юбку какой-то медсестры; даже под собой ощущал шевеление тел, прижатых друг к другу как сельди в бочке. Все помалкивали, пока снаружи патрули проверяли документы новоприбывших. Издалека слышались пушечные залпы, скорбно сопровождаемые стонами раненых. Проходили часы, и несколько раз меня подмывало всё бросить и вернуться домой. Наконец поезд медленно тронулся, почти со скоростью пешехода, но я чувствовал только биение своего возбуждённого сердца. Переехав по мосту через Дон, наконец-то мы покинули Ростов, и может быть, навсегда. После короткого пути поезд вдруг снова остановился. В уже забитые вагоны опять начали забираться люди. После этой короткой остановки, в ночной тьме мы продолжили движение на юг. От волновавших меня мыслей горела голова; я лихорадочно продумывал план бегства с поезда в сторону моря. Перед отъездом мама дала мне три бриллианта весом почти два карата каждый и два десятка золотых монет. *«Возьми, тебе может хватить на год жизни»*, – сказала она, лишая себя этих вещей, таких ценных в то время. Сокровища частью были зашиты в свитере, частью – в подкладке пиджака. Я чувствовал себя богачом и думал, что перед деньгами не устоят никакие препятствия. Также у меня имелась фальшивая «командировка» в Сочи, недалеко от Грузии, там я собирался пересечь границу, чтобы попасть в эту независимую республику. Самым трудным было покинуть военный эшелон, к которому я теперь был приписан; станции, где поезд останавливался, были окружены патрулями и без специального разрешения командира абсолютно невозможно было оставить вагон.

Наш поезд направлялся во Владикавказ, к подножию Кавказских гор. Там Белую армию хотели пополнять новыми полками и потом отправлять их на фронт, и если бы так случилось, то для меня не было никакого выхода. Любой ценой я должен был сойти на первой же станции, в Армавире, откуда шла железная дорога, ведущая к черноморскому порту Туапсе, к моей цели. В Армавире я рассчитывал остановиться у своего друга Тарасова, бывшего одноклассника по Московскому училищу.

Светало. Поезд ехал по заснеженной кубанской равнине; на дороге, параллельной железнодорожному пути, виднелись длинные цепи казаков Белой армии, покинувших фронт, чтобы уйти домой. Гражданская война держалась на этих казаках, потому что они постоянно переходили от белых к красным. На этот раз они покидали фронт со словами: *«Возвращаемся домой, надоело воевать»*. Этим наездников, вооружённых до зубов и готовых на всё, не страшило никакое наказание за дезертирство.

В бледном свете того раннего утра я начал различать своих попутчиков: легкораненых, нескольких медсестёр и военных медиков, среди них узнал одного офицера, которого уже встречал в Ростове, не имевшего отношения к нашему госпиталю. Он ночью пробрался к нам в вагон и ему позволили остаться в поезде до Армавира, где он должен был сойти. Это было, к счастью, мне на руку. Потребовались целый день и ночь, чтобы черепашью шагом покрыть двести пятьдесят километров, отделявших нас от Армавира; вполголоса разговаривая со своим новым знакомым, я изложил ему свой план побега, а он обещал мне помочь.

На рассвете следующего дня мы наконец прибыли в Армавир. И здесь станция была заполнена толпами беженцев, нагруженных багажом, всякого рода военными, а также лежащими прямо на земле тифозными больными, многие из которых были при смерти. Мой новый друг, как я уже сказал, должен был выйти в Армавири и, следуя нашему уговору, взял мой чемодан, чтобы оставить его у Тарасовых; на самом деле, попадись я на глаза с багажом, меня бы задержали. Его помощь была провидением. Как только мой друг ушёл, я попросил у командира позволения сбежать на станцию за кипятком для чая, по русскому обычаю; потому как два дня не пил ничего горячего, почти все получали на это разрешение. Я спустился с котелком, чтобы идти в буфет, но вместо этого зашёл в уборную, где снял все полковые знаки отличия и с фальшивыми документами, купленными в Ростове, пошёл к начальнику станции за разрешением на выход в город (следует отметить, что во время чрезвычайного положения нельзя было войти и выйти со станции без разрешения). Поскольку мои бумаги выглядели безупречно, начальник поставил на них печать, и я вышел.

Мой эшелон тем временем уже тронулся; даже если бы заметили моё отсутствие, было, увы, слишком поздно. В обычное время дезертирство не прошло бы так гладко, но в те дни хаоса всё было возможно и потому мой побег не встретил больших препятствий. Так я прибыл

домой к Тарасовым, довольный благополучным исходом первой части моего плана.

Тарасовы жили в прекрасном доме. Они были очень состоятельны и в городе весьма известны¹¹⁸; их сын, мой друг, по имени Месроп, встретил меня с большой радостью, отдав себя в моё полное распоряжение. От него я узнал, что днём раньше Ростов был взят красными. Эта новость меня невыносимо расстроила, потому что я действительно ощутил, как непроницаемая стена отделила меня сейчас от моих родных. Меня одолевали грустные мысли и было тяжело на сердце. У Тарасовых тоже все переживали, никак не определяясь, покидать Россию или нет: была та же самая беспокойная обстановка, в которой мы жили в Ростове до эвакуации.

В доме было полно людей, приходящих и уходящих, все приносили тревожные известия, менявшиеся от часа к часу. Старый Тарасов, восьмидесятилетний старик с белой библейской бородой, постановил, что все останутся. Вечером, во время ужина, я почувствовал жар: голова трещала то ли от боли, то ли от волновавших меня печальных мыслей; я лёг спать очень рано, и в горячечном бреду перед моим взором непрерывно представляли лица близких, которые в это лихое время жили в Ростове. Я чувствовал себя очень плохо и испугался, что подхватил тиф. Я боялся того, что меня могут увезти от Тарасовых и поместить в больницу и потому даже термометр не решался попросить. Это тоже могло означать верную смерть, потому что никто не заботился об умирающих, разбросанных повсюду, даже в подвалах, на двадцатиградусном морозе. Впрочем, на следующее утро жар прекратился, что для меня стало большим облегчением. Я никому не признался, что было так плохо; говорил только, что устал и не хочу выходить из дома.

Вечером в доме собралось много гостей на ужин; все подробно меня расспрашивали о последних днях, проведённых в Ростове, и о моём побеге. От них я узнал последние новости с фронта: Белая армия решила сопротивляться на Дону, но из-за её полной дезорганизации сопротивление оказалось трудным и неэффективным; также говорили, что генерал Деникин собирался прекратить борьбу и эвакуировать свои войска из Новороссийска в Константинополь. В Армавире тоже продолжались облавы в поисках мужчин, годных к отправке на фронт.

Моей целью был порт Туапсе, но найти место в поезде было почти невозможно, и тогда решено было остаться у Тарасовых ещё на неде-

¹¹⁸ Похоже, что речь идёт о так называемых «армавирских» Тарасовых (Торосьянах), известном семействе, одним из выходцев которого был Анри Труайя (Лев Тарасов), выдающийся французский писатель.

лю. Хуже того, я узнал о недавнем указе, который отменил все права на перемещение, так что даже моё разрешение не стоило ничего и, лишённый таким образом хоть какого-нибудь документа, я даже не рисковал выходить из дома. Единственным решением было раздобыть иностранный паспорт, которым многие уже обзавелись; так сделали и Тарасовы, имевшие на случай бегства наготове персидские паспорта. В Армавире, так же, как и в Ростове, можно было приобрести настоящий законный персидский паспорт, с подписями и печатями, но заплатить нужно было очень дорого, и чтобы получить его, я должен был потратить половину своего маленького состояния. Я ещё колебался, когда вскорости узнал от друзей, что возможно удастся получить паспорт зарождающейся республики Армении. Как известно, в 1918 году после распада Российской империи образовалось несколько соседних республик.

На юге возникли республики Армения, Грузия и Азербайджан, которые уже везде открыли свои консульства и выдавали паспорта новым подданным. Армянами считались только те, кто родился в Армении или Турции; я, родившись в России, естественно такого права не имел. Тем не менее, благодаря счастливому стечению обстоятельств, за не слишком чрезмерную цену мне удалось получить законный паспорт со всеми печатями.

Этот документ выглядел весьма презентабельно; в красивой голубой обложке он издали мог сойти за французский. Благодаря связям Тарасова и другим знакомствам я даже смог раздобыть место в поезде: я должен был пойти в вагонное депо и запереться в одном из вагонов, пока его не прицепят к отправляющемуся составу.

Я попрощался с гостеприимной семьёй Тарасовых, и меня со всей конспирацией за два часа до отбытия доставили в вагон и посоветовали спрятаться под лавками, потому что разъярённая толпа, ожидавшая поезд, без колебаний устроила бы самосуд над нашедшим себе место пронырой. В конце концов поезд, переполненный пассажирами, лежавшими даже на крышах вагонов, медленно двинулся в сторону Кавказских гор и Чёрного моря. Я был одет в штатское, бросив дома у Тарасовых ненавистную военную форму, оставил только сапоги и гимнастёрку, с которой снял знаки отличия. Я старался разговаривать с сильным армянским акцентом, чтобы подчеркнуть свою национальность. Поезд въехал в прекрасную предкавказскую долину, и этот пейзаж после прежнего, засне-

женного и унылого, поднял мне настроение; даже небо здесь было более синим и, казалось, уже дышало воздухом, напоенным запахом моря. Я ехал в отсеке, набитом неописуемым народом. Передо мной, зажатым со всех сторон, сидел дородный господин, одетый в меховую куртку, бриджи и кожаные гамаши; он изо всех сил пытался завязать со мной разговор, но мне это было немного подозрительно, потому что этот человек, смотревший на меня, подмигивая одним глазом, не внушал доверия. В конце концов мне показалось, что бояться нечего, и разговор принял более доверительный характер. Он сказал мне, что держит гостиницу, что хорошо знает Ростов, даже назвал некоторых из моих родственников и предложил номер в своей гостинице в Туапсе, нащёптывая на ухо, что мог бы устроить мне отплытие на судне, отправляющемся в Грузию или Батум. Всё это он говорил подмигивая, давая мне понять, что его связи позволяют ему подыскать что угодно по сходной цене. Поезд пересекал горную цепь через туннели; когда объезжали склоны, показывалась длинная полоса моря: снег исчез, воздух потеплел; покачивались кипарисы. При виде такого пейзажа я ощутил прилив новых сил и, казалось, уже начал забывать прошедшее.

Вместе со своим новым знакомым я без проблем вышел со станции. Военный контроль, увидев меня с таким спутником, даже не попросил предъявить мои документы. Я возблагодарил судьбу, которая послала мне знакомого, оказавшегося столь важной персоной. Мы зашли в отель, носивший громкое название «Европа», но на деле он представлял из себя небольшой одноэтажный трактир. Мой новый вожатый выделил мне маленькую комнату на чердаке, поскольку вся гостиница была занята различного рода беженцами.

Оставив чемодан, я сразу вышел побродить по городу. Здесь тоже было множество военных; но обстановка была более спокойной, менее гнетущей и, как символ надежды, в конце улицы виднелись мачты кораблей в порту. Я шёл счастливый, грызя орешки, купленные у персидских лоточников, сидевших на каждом углу, и вдыхал ароматный морской воздух. Вдруг я услышал, что меня кто-то зовёт: «*Гриша, Гриша*»; в удивлении я обернулся и увидел идущего мне навстречу одноклассника в военной форме с распростёртыми для объятий руками. Это был мальчик из того знаменитого полка из студентов, мобилизованных шесть месяцев

назад, куда должен был попасть и я, как многие другие он тоже дезертировал, сбежав сюда, чтобы уехать за границу. Его звали Ара.

Ара спросил меня, какие у меня планы на будущее, и я поведал ему, что ожидаю судно, направляющееся в Батум или Потти. Он ответил, что вряд ли такое возможно, так как крупные суда в Туапсе не останавливаются. Он предложил мне отправиться южнее, в Сочи, где его брат был командиром пограничников. С его помощью мы могли бы легко уехать в Грузию. Я был очень рад этой встрече, и мы решили продолжать путешествие вместе. *«Завтра в полночь в Сочи отплывает парусник; я знаком с караульными, охраняющими порт, и в темноте нам позволят пройти; а на рассвете будем в Сочи»*, – сказал мне товарищ, и я был очень доволен таким решением нелёгкой задачи.

Мы провели вечер в хорошей компании; там также была маленькая певичка, которая собиралась уехать с нами. До рассвета мы оставались в скромной харчевне, я даже не возвращался в гостиницу. На следующий день я сообщил моему хозяину новый проект; мне показалось, что он раздосадован, сказал, что это ошибочный путь, потому что он мог бы посадить меня на судно, идущее прямо в Батум. Я не признал его правоту и в шесть часов вечера был уже в порту, где встретился со своими товарищами. Часовые позволили нам сесть в лодку размером не длиннее пяти метров, где мы все втиснулись под брезент в ожидании полуночи. Погода менялась; ещё вечером начался дождь, а сейчас задул холодный северный ветер, сметая все следы весны. Пошёл снег, и море всё сильнее вздувалось. Владелец лодки, грек, не был уверен, стоит ли отчаливать; это должно было быть путешествием при лунном свете, в то время как, наоборот, вокруг нас всё более и более сгущался мрак. В полночь мы вышли из гавани, несомые высокими волнами, вторгающимися в лодку, мы все промокли насквозь. Продолжать было невозможно; лодку заливало, и нужно было цепляться за банки, чтобы не упасть в воду.

Лодка теряла управление, надо было возвращаться назад. После трёх часов нечеловеческих усилий мы вернулись в порт, дрожа от холода и страха. Это несчастливое начало поездки было началом моих неудач, вскоре последовали и другие. Мы вынуждены были оставаться на лодке до рассвета, потом мы сошли с неё и возвратились в город, буря не собиралась прекращаться. Измотанный, я вернулся в отель «Европа», стыдясь попадаться на глаза владельцу; мои спутники, которым некуда было идти

спать, попросили меня тоже их пристроить. Хозяин поначалу не соглашался их принять. Так как я был лишён наличности, то попросил его разменять мне золотую монету; при виде драгоценного металла он сразу подобрел и позволил моим товарищам расположиться в моей комнатке на чердаке. Шёл снег и очень похолодало; весна улетучилась и дороги обледенели. Вместе с погодой поменялось настроение как моё, так и моих товарищей.

Нас было четверо молодых людей и одна девушка, все сгрудились на кровати, чтобы лучше высохнуть. Мы купили кое-что из еды, и водку, чтобы согреться. Коротали время, куря и глядя в окно на наступающие сумерки. Кто-то постучал в дверь: это был наш хозяин, который весьма любезно предложил: *«Вы ведь замёрзли, спускайтесь со мной, повечеряем у меня за самоваром, моя жена вас ждёт»*. Мы с энтузиазмом сразу приняли приглашение и пошли в его покои. В комнате, куда мы вошли, было не слишком просторно, но хорошо натоплено, стены покрывали ковры с висевшими на них охотничьими трофеями и оленьими рогами, в глубине стоял стол с уютно свистевшим самоваром; рядом сидела полная дама в макияже, с крашеными чёрными волосами и огромными бриллиантовыми кольцами на толстых белых пальцах. Она пригласила нас сесть за стол, уставленный тарелками с ветчиной, копчёной селёдкой, холодцом, солёными огурчиками, стоял и графин с водкой. Были ещё и другие гости, один из которых отрекомендовался инженером, другой врачом и так далее. Был даже известный чемпион по греко-римской борьбе, кумир всей молодёжи Клеменс Буль¹¹⁹, случайно оказавшийся в этой гостинице. Позже подошёл ещё некто Ваня, с чёрными усиками и в военной форме без знаков различия. У врача и инженера были небритые лица, казавшиеся от этого грязными. Между всеми завязалась милая беседа, начали хулить генерала Деникина, революцию и некоторые другие вещи. Так общаясь, мы опустошали блюда с ветчиной и холодцом, поднимая тосты в честь хозяйки дома. Вдруг хозяин воскликнул: *«Почему бы нам не поиграть в шмендефер?»* *«Почему бы и нет?»*, – подумал я. В моей комнате холодно, и потом можно же попытать счастья. Мои спутники были того же мнения. Был принесён столик с зеленым сукном, вокруг которого все мы сразу же собрались, в то время как хозяйка осталась у самовара вместе с нашей «Дульсинеей».

Первый банк метал хозяин, который проиграл, в то время как я, выиграв двадцать рублей, почувствовал в себе смелость продолжить. По-



Клеменс Буль

¹¹⁹ Клементий (Клеменс) Иосифович Буль (1888–1953) – русский профессиональный борец, в 1911 году чемпион мира. В начале 1920-х годов держал антрепризу в Ростове-на-Дону.

степенно ставки росли, атмосфера накалялась, комната наполнилась дымом; я начал проигрывать и, чтобы отыгаться, увеличивал ставки; мои друзья также увлеклись. Врач с небритым лицом выиграл больше всех. В какой-то момент я с ужасом заметил, что моя наличность закончилась, и мне пришлось вынуть из кармана две золотые монеты, которые хозяин тут же любезно разменял. На этот раз весь банк сорвал инженер и мои золотые монеты пропали. Двое из моих друзей уже вышли из игры, но мой сосед Миша постоянно толкал меня по ноге, как будто хотел мне что-то сказать. Борец Буль после проигрыша ушёл. Я разменял третью золотую монету и вскоре четвёртую и вспотел, будто в бане. Хозяин предложил приостановить игру и что-нибудь поесть, после чего можно было бы взять реванш.

Мы с Мишей отошли в туалет, и мой друг зашептал мне на ухо: *«Тупица, мы попали в руки к жуликам; я видел, что врач поставил колоду краплёных карт, но я тоже не лыком шит, вот увидишь»*, – говорил он, вытаскивая из сапога карточную колоду. Я был в отчаянии, потому что потерял три четверти своих денег, но решил сделать последнюю попытку с мишиной колодой и вернулся в гостиную. Я почти не ставил, ожидая очереди моего спутника. А когда она подошла, после первой же сдачи хозяин поднялся, сказав, что ему нужно проверить закрыты ли двери, врач начал зевать и под предлогом головной боли упал на диван; инженер сослался на сердечный приступ, и таким образом мишин банк вылетел в трубу. Ставки были скудными: мошенники поняли наш трюк и не хотели расплачиваться. Когда мишин банк был исчерпан, все они внезапно ожили. Они предложили последний тур, но мы больше не играли; я – из-за страха потерять оставшиеся пять золотых монет, а мои товарищи – потому что у них больше не было денег; так что мы, понурившись, вернулись на холодный чердак, проклиная собственную глупость. На следующий день, не желая оставаться в этом жульническом вертепе, мы принялись искать новое жильё, так как пока шторм не закончится, нужно было оставаться в Туапсе, но, как говорится, ждать у моря погоды иногда можно несколько недель.

Мы нашли на окраине трактир, полный клопов, где устроились по причине весьма низкой цены, соответствующей нашим опустевшим карманам. На улице я случайно встретил ещё одного ростовского знакомого, Хельмера*, запасшегося великолепным паспортом по всем правилам, что

*Юрий Борисович Хельмер (1900 – ?), ровесник Г. И. Шилтына, сын Б. З. Хельмера, владельца ростовской хлебно-комиссионной и шерстяной конторы, а также Доходного дома на улице Ульяновской, впоследствии известный как коллекционер марок и бон, представитель Советской филателистической ассоциации (СФА) на Северном Кавказе.

позволяло ему уехать, когда хотелось, лишь бы удалось найти средства для этого. На следующий день шторм всё ещё бушевал. Мы видели в гавани большое судно из Новороссийска, готовое к отправлению в Батум; невообразимая толпа дралась на набережной за возможность сесть на него; все входящие проверялись, и пройти без выездной визы было нельзя. Имея в распоряжении ещё несколько золотых монет, я подумывал о том, не покинуть ли своих друзей и сесть на этот пароход с Хельмером.

Я побежал в комендатуру, чтобы получить визу, но поскольку там была огромная толпа, пришлось ждать своей очереди почти полдня. Полковник, ответственный за проверку документов, с некоторым презрением посмотрел на мой паспорт, сказав, что республики такого рода не принимаются к рассмотрению. Позже я узнал, что достаточно было хороших чаевых, по обыкновению, чтобы его мнение изменилось. Я настаивал, он раскричался и выставил меня за дверь. Я возвращался в трактир смертельно уставший; издали я увидел в дверях друзей, переживавших за результат экспедиции, но к несчастью в пятидесяти метрах от гостиницы наткнулся на один из рейдов, которые часто проводились на окраинах: улицы были перекрыты казачьими патрулями, а между ними вооруженные офицеры требовали у всех здоровых мужчин документы. Какой-то неграмотный казак просматривал их, может даже вверх ногами, бормоча: «*Документ недействительный*», и группа уже задержанных несчастных, окружённых часовыми, увеличивалась в ожидании отвода в комендатуру.

Никто не верил в возможность обучения всех тех людей для отправки на фронт, скорее они были бы привлечены для рытья окопов в горах, где белые организовали оборону. Патруль под командованием офицера остановил и меня, они попросили мои документы. Я достал паспорт и показал его офицеру, который даже не взглянул на него, произнеся обычное «*Документ недействительный*» и оттолкнул меня к остальным бедолагам.

Мне показалось, что всё кончено, но я не собирался сдаваться. Держа в руке паспорт, я попытался объяснить офицеру свои обстоятельства, неотступно следуя за ним, хотя он даже не соизволил посмотреть на меня. Мы прибыли в комендатуру, всех силой затолкали в большой двор, и за нами закрыли ворота, охраняемые часовыми.

Я продолжал идти за офицером в надежде объяснить мою ситуацию, но тот не обращал внимания ни на меня, ни на толпу задержанных, считая, что она уже надёжно упрятана. Я ещё раз обратился к нему, изо-

бражая дружескую жестикуляцию, в надежде, что он меня выслушает. Часовые у дверей, уверенные, что мы беседуем о важных вещах, и обезоруженные моим спокойствием и внешним видом в конечном итоге позволили мне пройти в комендатуру. Это было моим спасением. Человек, за которым я шёл, вскоре исчез в одном из кабинетов, выходящих в коридор. В этот момент ко мне пришла гениальная идея: я пошёл на второй этаж, в кабинет, где был двумя часами раньше, и с самым беспечным видом на свете предстал перед тем же полковником, который мне отказал в выдаче визы. Он не знал, что я был задержан, и, увидев меня снова, пришел в неистовство. Набрав полные лёгкие воздуха, он заорал: *«Уведите этого проклятого армянина, он мне осточертел, иначе я его арестую!»* Появился гигантский казак, который взял меня за шиворот и вытолкнул насильно на середину улицы.

Я, как сумасшедший, побежал в гостиницу. Мои друзья, увидев меня вновь, очень обрадовались. Мы провели ночь в компании клопов, ожидая развития событий. На следующий день погода значительно улучшилась и Хельмер заявил о том, что грек собрался в полночь плыть на своей лодке. Охранники, присматривавшие за этой отдалённой частью порта, где стояла на якоре лодка грека, были с нами заодно, и в сумерках мы снова спрятались в лодке под брезентом. Кроме нас были и другие пассажиры, в том числе женщины, дети и несколько крестьян; море было ещё спокойно, но шторм закончился. При свете луны мы легко вышли из туапсинского порта и направились в открытое море; каждый раз плещущие волны заливали нашу утлую лодку, обдавая нас водой с головы до ног. На рассвете нам открылся вид на Сочи; погода была великолепная, небо голубое, поднявшееся из-за гор солнце сияло, освещая море; вдалеке виднелись горы, богатые растительностью, а сквозь платаны и кипарисы выглядывали красивые особняки. В Сочи не было гавани, и наша лодка стала на якорь в середине залива. На борту небольшой вёсельной шлюпки мы добрались до берега. Солнце стояло высоко; вдруг неожиданно со стороны гор мы услышали пулемётные очереди и на холмах увидели тут и там облачка белого порохового дыма; ещё нам ударил в уши залп миномётной гаубицы. Было похоже на сражение. Что же происходило?

Не успели мы поставить ноги на твёрдую почву, как сразу же были окружены вооружёнными офицерами, спрашивающими нас: *«Кто такие?»* После того, как мы показали документы, офицер заявил: *«Мы окружены*

зелёными, которые пытаются захватить город, вы как военнообязанные должны пойти в командование, чтобы получить оружие и тотчас идти на передовую». Так что мои друзья, по факту одетые в форму, вынуждены были нас покинуть, почти даже не попрощавшись, но мне удалось шепнуть им, что мы пойдём в гостиницу «Русская Ривьера». Взвалив свои чемоданы на плечи, мы вошли в полупустой город. Отель, один из самых известных в России, находился примерно в километре от города; дорога до него заняла у нас полчаса. Испуганный портье открыл нам двери и впустил нас, глядя на наши документы с некоторым недоверием. На вопрос о номерах он ответил, что основной корпус отеля весь занят, но он мог бы дать нам комнаты в пристройке, с видом на море. Мы были счастливы разместиться в приличном месте и на чистых постелях. У меня было большое желание после двух недель сменить одежду и, наконец, я открыл чемодан, который до сих пор не трогал. За окном открывалась прекрасная панорама, огромный парк был заполнен кипарисами, лаврами, олеандрами. Мой красивый кожаный чемодан, купленный папой во Франкфурте, в известном магазине Морица Медлера, содержал необходимую для поездки одежду: почти новый элегантный серый костюм и пару белых гетр, которыми я очень гордился. Было немного белья, коробка красок с несколькими драгоценными тюбиками от Лефрана, а также жестяная палитра для темперы; ещё я обнаружил книгу, которую положил в чемодан в последний момент: «Путешествие в Италию» Гёте, во время моих странствий она должна была меня вдохновлять и утешать. В этой элегантной среде я сразу почувствовал себя хорошо, сменил платье, надел серый костюм с белыми гетрами, и мне казалось, что я действительно отдыхаю после трагических событий минувших дней.

Хельмер тоже переоделся, он снял сапоги и надел свою красивую спортивную тройку. Мы решили вместе сходить в ресторан. С гор постоянно доносился треск огнестрельного оружия, но в этом отеле, окружённом огромным парком, можно было поверить, что бой нас не касался. Зал был полон людей, с недоверием глядящих на нас, новоприбывших. Там была, по большей части, петербургская или московская буржуазия, без опасений отдыхавшая в этом восхитительном уголке побережья Кавказа. Среди них был миллионер Патрикеев¹²⁰, бывший московский думский гласный, с длинной белой бородой и выпирающим животом, неумеренно накрашенной женой-француженкой и заикающимся сыном, почти идио-

¹²⁰ Возможно, речь идёт о П. П. Патрикееве – гласном московской городской думы в 1909–1912 гг.



Яков Южный

¹²¹ Шевелёв (наст. фам. Шевелюхин) Николай Артемьевич (1874–1929) – русский певец (баритон), гастролировал в странах Европы и Америки. В 1919–22 гг. профессор Тифлисской консерватории.

¹²² Возможно, что упоминается Флоров Владимир Николаевич (1888 – после 1959) – пианист, композитор, с 1925 г. артист ленинградской и московской филармоний, постоянный аккомпаниатор И. Яунзем.

¹²³ Яков Южный (Яков Давидович Рейтер) (1883–1938) – артист эстрады, после эмиграции открыл в Берлине кабаре «Синяя птица», с которым потом гастролировал по Европе.

том. Было несколько красивых и элегантных дам, знаменитый баритон Шевелёв¹²¹, пианист Флоров¹²² и другие.

После завтрака мы спустились в сад, где ко мне подошел какой-то тип в меховой шапке и с лицом, похожим на череп, который спросил у меня последние новости: он представился как Южный¹²³, артист варьете. Когда он узнал от меня, что я из Ростова, то сказал, что тоже оттуда, и что хорошо знает некоторых моих родных. Человек он был очень представительный и говорил дружелюбно, похлопывая меня по плечу, и даже утверждал, что является моим дальним родственником.

Обстановка была гнетущая и всех охватывала тревога, так как вокруг шли бои. Все охотились за новостями, хотели знать, кто такие в конце концов эти зелёные, от которых никто не ожидал ничего хорошего. Наступил вечер, и шум боевых действий почти прекратился. Уставшие, мы разошлись по номерам.

Я крепко спал, когда около полуночи меня разбудил стук в дверь, это были мои друзья, оставленные утром, а с ними брат Ары, Гавриил, командир пограничников, который сообщил: *«Белые побеждены, город находится в руках зелёных. Мы убежали сюда, потому что место очень безопасное. Мы сожжём нашу военную форму и остановимся на несколько дней».*

Портье, напуганному этими вооружёнными и неизвестными молодыми людьми, пришлось пропустить их, дав им комнату смежную с моей. Я спешно оделся, чтобы помочь друзьям совершить аутодафе всех их военных эмблем и утопить оружие в море. За этим занятием они рассказали свою короткую одиссею. Их сразу вооружили и немедленно отправили на линию обороны, но вместо того, чтобы направиться в сторону фронта, они спрятались в доме Гавриила, брата Ары. В сумерках, в то время как белые отступали за холмы, а зелёные входили в город, они перебежали в нашу гостиницу.

Зелёные могли появиться с минуты на минуту, но, поскольку мы были одеты в гражданскую одежду, нас утешала мысль, что мы не подвергнемся никакому риску. Мы лихорадочно перешёптывались, рассказывая невероятные и трагические истории о событиях дня и, вконец измученные, заснули.

Только закрыл глаза, как снова услышал громкий стук в дверь. Открыв её, я оказался перед группой вооружённых людей с нацеленными на меня револьверами; некоторые из них были в папах с зелёной по-

лосой, у других она была на рукаве. Они спросили, есть ли у меня оружие и документы, представившись солдатами независимой черноморской социалистической республики.

Убедившись, что я гражданский и безоружный, они успокоили меня, сказав, что мне нечего волноваться. Лица у них были добродушные, и, казалось, страха не вызывали. Я немного беспокоился за своих недавно прибывших друзей, но для них также всё прошло гладко. Зелёные, несмотря на их понятия о солдатском долге, приняли во внимание тот факт, что мои друзья дезертировали, чтобы не воевать против них и оставили их в покое, однако рекомендовали нам не покидать своих комнат, потому что в городе был беспорядок, и следовало бояться перегибов.

Первый контакт с зелёными был таким образом весьма обнадеживающим, так что мы решили сыграть в карты, чтобы скоротать время.

Около полудня послышался шум старого автомобиля, из которого вышло несколько военных без знаков различия, но с большими зелёными повязками на рукавах. Портье сказал нам, что шла речь о командовании, которое хотело устроить в гостинице свой генштаб. Было время для завтрака, а так как мы были очень голодны, то решили выйти из пристройки и пойти поесть в ресторан, думая, что этим не нарушим запрет утреннего патруля.

Зал пустовал, все перепуганные гости заперлись в своих комнатах. Было только семейство Южного, глядевшего на нас с подозрением, считая, что мы были частью команды зелёных. Мы всемером заняли столик, весело принявшись за еду. Неожиданно вошла группа военных (на этот раз это были только командиры) и немногочисленная публика ошеломлённо смотрела, не зная, кто же из нас на самом деле имел отношение к страшным революционерам. Пришедших было пятнадцать, говорили между собой серьёзно и взволнованно, часто поглядывая в нашу сторону. Один из них подошел к нашему столу и узнав, что среди нас были офицеры белой армии, разозлился, объявив всех под арестом.

«Немедленно идите в свои комнаты и не двигайтесь без моего приказа, иначе будет самое суровое наказание!», – крикнул тип, который был одним из главарей зелёных.

Мои друзья были вынуждены покинуть ресторан, в то время как мы с Хельмером, являясь штатскими, могли спокойно продолжать обедать. Тем временем отель наполнился солдатами; во дворе скопились

вооружённые патрули и комнаты начали обыскивать на систематической основе. В вестибюле мой друг Хельмер подошёл к плачущей женщине: она была жена офицера и опасалась за судьбу своего мужа, так как говорили, что все офицеры были развезены по тюрьмам, а потом их расстреляют. Эта дама хотела поехать в город, чтобы получить точные сведения, и Хельмер, не будучи военным, вызвался её сопровождать. Но наступил вечер, а затем и ночь, Хельмер всё не возвращался, и я очень беспокоился за его судьбу.

На следующий день прибыло ещё больше солдат, не таких добродушных, как первые, плохо одетых, оборванных, но вооружённых до зубов и со внушающей страх некоторой свирепостью в лицах. Ни один беспорядок или эксцесс в гостинице ещё не случился; командирский автомобиль исчез, потому что, как мы узнали позже, сами командиры отправились на фронт, оставив таким образом эту массу разбойников без контроля и узды. С другой стороны, около полудня мы увидели корабль, входящий в залив и с радостью заметили, что над ним развевался французский флаг: это был эсминец, пришедший из Батума наблюдать за политической ситуацией. С корабля сошёл офицер и на небольшой моторной лодке приплыл к пляжу гостиницы, чтобы выяснить, есть ли французские граждане, нуждающиеся в защите. Я сразу подумал, что мои знания французского могли бы мне помочь, но офицер не удостоил меня даже взглядом: катер ушёл, увозя на борту двух дам с их багажом и через некоторое время команда подняла якорь, оставив нас без помощи, в панике перед беспорядком и анархией.

Войска из окрестностей прибывали всё больше и больше, из города приходили известия о массовых расстрелах, говорили, что казни проводились на уединённой даче генерала Ермолова и что её сад был теперь полон трупов: наблюдая за головорезами, которые шастали по гостинице, мы боялись, что в любую минуту у нас всё отберут.

День прошёл очень тревожно, мой друг не вернулся, а я не рисковал ехать в город искать его. Ночь прошла очень мучительно: запершись в комнате со своими друзьями, мы слышали крики и пение вооружённых пьянчуг, собравшихся внутри и снаружи здания. Только на рассвете удалось заснуть, отдохнув несколько часов. Проснувшись, заметил, что Хельмер так и не вернулся: он отсутствовал уже в течение двух дней, и я всё больше терял надежду снова его увидеть, убеждён-

ный в том, что его уже лишили жизни. Я одел светло-серый костюм с белыми гетрами, полагая, что элегантность устранил любые подозрения в принадлежности к военным.

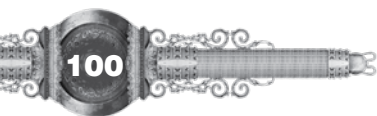
Я вышел из пристройки, чтобы пойти и узнать новости у портье, и увидел своего друга Мишу, окружённого группой угрожающе кричавших солдат. Этот негодник, вместо того, чтобы соблюдать порядок пребывания в своей комнате, беспечно вышел в сад, где сразу же был признан белым солдатом, хотя он снял с формы погоны и знаки различия. Инстинктивно я подошёл, но когда солдаты поняли, что я дружил с тем, кого они задержали, то закричали: *«Вот ещё один белый, взять его тоже»*.

Я тщетно пытался объяснить, что я армянский подданный и никогда не был военным, что я художник; но это не помогло, моё положение наоборот ухудшилось. Горбун с огромным ружьём закричал: *«Ты наш злейший враг, потому что это ты рисовал проклятые плакаты против нас!»* Я хотел возразить, но от страшного удара прикладом в затылок едва не лишился чувств. Услышав крики, постояльцы выглянули из окон посмотреть, что происходит, и даже Гавриил вышел на балкон, чтобы осмотреться.

Как только толпа заметила его опрометчивый поступок, то постановила: *«Здесь логово белых, взять и этого!»* И, к сожалению, ко мне в саду присоединились остальные трое друзей. Мы были в окружении свирепых лиц, револьверов, направленных в нашу сторону, и нас так сдавили, что дыхание перехватило. Толпа теснила нас к воротам, ведущим на улицу. Я думал, что, когда мы окажемся за оградой, тут моя жизнь и кончится. Я был на волосок от смерти.

Передо мной с необыкновенной ясностью возникло воспоминание о том, как толпа расправилась с моим знакомым, Георгием, два года назад, тем временем орущая толпа тащила нас из отеля почти как груз. *«На дачу генерала Ермолова!»* – кричали вокруг, а я в своём сером костюме и белых гетрах был весьма жалок!

Нас продолжали толкать, но, к сожалению, не в сторону города, а в направлении печально известного дома Ермолова. Я чувствовал, что дело близится к концу. Рядом со мной плакал Гавриил, бормоча мне на ухо: *«Ты гражданское лицо, ты ещё чудом можешь спастись, но для меня нет никакой надежды. Если выкрутишься, найди мою жену, она на последнем месяце беременности, скажи, что я думал о ней до последнего вздоха»*.



Наши мытарства продолжались: позади конвоиры уже рассуждали о нашей одежде: кто хотел мои ботинки, кто предпочитал мой красивый костюм. В моём мозгу чередой проносились мысли: *«Вот, – говорил я себе, – справедливое наказание за моё безрассудство, безумие, заставившее меня отказаться от семьи в такое тяжёлое время; какой печальный конец, какая нелепая и позорная смерть!»* Так продолжался наш путь в сторону холмов. Небо было необычайно голубым, пели птицы, в то время как мы ожидали смерти. Конвоиры спешили и грубо нас теснили, нанося удары по спинам; любые слёзы, любая мольба были бесполезны, мы быстро приближались к финалу.

Мы прошли более полукилометра, когда на перекрёстке с дорогой, ведущей к генеральскому дому, появились две фигуры, шагающие в нашу сторону, одетые как рядовые солдаты, с зелёными повязками на руках. Когда наши головорезы их встретили, то притихли: было ясно, что эти двое – должно быть важные люди. В какой-то момент один из них крикнул: *«Куда ведёте этих заключённых?» «Это проклятые белые, которых мы арестовали: мы ведём их на дачу Ермолова; в расход!»*

«Я говорил вам тысячу раз, что никаких расстрелов не может быть без приговора особого трибунала. Назад, и мигом отведите этих заключённых в город! Будет следствие по закону!»

Супостаты протестовали, досадуя потерять нашу обувь, но авторитет этих солдат должно быть был большим, потому что неохотно, но они подчинились. Позже я узнал, что это был Антонов¹²⁴, верховный командующий вооружёнными силами зелёных.

Эта встреча была чудом, потому что, если бы мы прошли за несколько минут до или после них, мы все были бы расстреляны.

Моя жизнь была спасена чудесным образом: я снова мог смотреть на голубое небо и слышать пение птиц. Хотя я продолжал идти, силой подталкиваемый нашими душегубами, я чувствовал себя полным энергии и жизненной силы. Скорым шагом мы приближались к городу. Вдруг страшная мысль пришла мне в голову: я зашил в своём свитере бриллианты, и если в тюрьме меня обыщут, то точно отправят в мир иной. Я снова начал проклиная своё легкомыслие, авантюризм, близко приведший меня к таким опасностям, и в тот момент я поклялся себе, что если мне удастся спастись, то вернусь домой, к семье, отказавшись от всей итальянской мечты.

¹²⁴ Возможно, это был один из местных командиров, если автор верно вспоминает фамилию. Верховным командующим зелёного ополчения в то время был Н. В. Воронович.

Прибыв к городским воротам, конвоиры, подчиняясь приказу Антонова, оставили нас, передав под опеку немного более благожелательным охранникам. Нас привели в тюрьму, устроенную в старой школе, мы увидели, что она до невозможности была заполнена белогвардейцами. Нас бросили в помещение, где уже находилось около трёхсот человек, и как только дверь захлопнулась, я услышал голос, зовущий меня по имени, а в темноте две руки обвили меня за шею. Это был Хельмер, которого держали там уже в течение трёх дней, и моя радость попасть опять в его объятия была действительно велика, потому что я считал его уже мёртвым.

В этой тюрьме я провёл почти месяц. Первые дни были невыносимо тягостны, по ночам внезапно приходили охранники и вызывали по имени кого-нибудь из офицеров на выход с вещами и, к сожалению, это был знак неизбежного расстрела. Постепенно всё утихло, самые неужённые из зелёных отправились на фронт и городу достались другие, более умеренные; даже охранники стали немного более человечными, и я начал привыкать к тюремной жизни. Спали на голой земле, прижавшись друг к другу, чтобы уберечься от холода. Никто нас ни допрашивал, ни обыскивал; всё это мне казалось довольно странным, и я часто спрашивал у охранников, каковы всё-таки причины моего ареста, но ни разу не получил ответа.

К счастью, мне попали в руки кусок угля и несколько листов бумаги, и я начал делать портреты часовых и собратьев по узилищу. Очевидно однажды до ушей коменданта дошла новость, что в заключении находится художник. Хельмер и я были вызваны на суд. Мы вошли в комнату, и оказались перед тремя личностями, составляющими особый трибунал. Один из них был плотником, а другой – сторожем этой самой школы. Допрос проводился очень небрежно. Я попытался объяснить причины моего ареста; вдруг плотник повернулся к остальным и сказал: *«Как вы думаете, эти двое виновны?»* *«Вроде нет»*, – ответили они. *«Тогда вы свободны, идите-ка отсюда»*.

Как только мы получили ордер на освобождение, то сразу вышли из тюрьмы и бегом вернулись в отель, где уже не чаяли найти свои вещи. Портъё оказался очень честным человеком и сказал нам, что сперва все были убеждены, что нас расстреляют, но потом получили известия более обнадеживающие, и этот добрый малый держал весь наш багаж в сохранности.

После этих приключений мы больше не хотели оставаться в Сочи; фронт всё время перемещался и можно было ожидать других эксцессов и беспорядков в городе. Грузинская граница была всего в пятидесяти километрах от нас. Поэтому мы решили не теряя времени отправиться в долгожданный свободный мир. Нам сообщили о трудностях, с которыми можно столкнуться при пересечении границы, но предприятие представлялось нам достаточно лёгким, потому что грузины со своей стороны не чинили препятствий. Реальная опасность, однако, состояла в расстоянии, которое мы должны были преодолеть, уберегая себя от зелёных и преступников всех мастей, всегда готовых грабить и убивать всех путешественников.

Мы вышли из тюрьмы в жалком виде, полные вшей; мой красивый светло-серый костюм был разодран в пух и прах, а белые гетры, служившие мне в качестве подушки, теперь приобрели цвет, не поддающийся описанию.

Шла вторая половина февраля и в воздухе уже ощущалось дыхание весны. Поэтому мы продали все меховые вещи, поскольку наши денежные запасы полностью истощились. У меня, к счастью, оставались до сих пор бриллианты, зашитые в свитере, которые ни при каком обыске не удалось обнаружить. Мы наняли повозку и отправились на рассвете к грузинской границе.

Дорога от Сочи, ведущая к Гаграм, красива: она напоминает ту, которая идёт от Сорренто до Амальфи, или дороги лигурийского побережья, или гористый берег озера Гарда: с одной стороны – нависающие скалы, а внизу, в глубине – синее море.

К вечеру мы приехали в Адлер, небольшой городок неподалёку от границы, также контролируемый зелёными, но совершенно иного оттенка: они считали себя независимыми, так что для нас была опять опасность ареста, с учётом этого мы остановились заночевать в трактире на окраине.

На рассвете мы продолжили в повозке наш путь и прибыли на пограничную заставу, где под мостом протекал небольшой горный ручей, на той стороне прохаживались грузинские постовые. Когда мы подошли, они спросили нас, куда собираемся идти и что хотим. Мы предъявили документы, но в ответ слышали, что без визы нам пройти не разрешат. Нас подвели к комендатуре, откуда вышли несколько грузинских офицеров, ставших с подозрением нас рассматривать. Командир дал понять, что он не позволит нам пройти, и предложил вернуться назад.

После моих настояний и просьб он рассердился и начал орать, приказав обыскать нас и наш багаж. Открыв чемоданы, солдаты обыскивали их сверху донизу, вытряхивая всю одежду; вдруг один из них поднял мою жестяную палитру для темперы и торжествующе закричал: *«Вот оно»*. *«Что это?»* – спросил офицер, который, наверное, посчитал, что перед ним щит или не знаю какое ещё воинское снаряжение. *«Палитра для темперы!»*, – ответил я дрожащим голосом. *«Убирайтесь отсюда, проклятые коммунисты, в противном случае я вас расстреляю на месте!»*, – заявил офицер с таким агрессивным видом, что казалось, его накрыл эпилептический припадок, он запрокинул голову, открыл рот, из которого издавались нечленораздельные крики и почти шла пена, глаза закатились так, что остались видны только белки. Ко всему прочему он обнажил шпагу и стал ею размахивать.

Дрожа, мы забрались обратно в повозку, пустили лошадь в галоп и проехали обратно мост под нацеленными на нас ружьями охранников, не смея даже повернуть голову. Извозчик приостановил бег своей кобылы только после того, как этот опасный мост полностью исчез из виду.

Тем временем я думал, что месяц назад меня хотели расстрелять, считая за белого, а теперь меня хотели прикончить, потому что был коммунистом! Я так устал и отчаялся, что хотел отказаться от своего пути, мечтая запереться в маленькой комнатке и рисовать, ожидая возможности вернуться в Ростов. Даже Хельмер был очень подавлен, ничего не говорил, и всё ещё дрожал от страха. Нужно было лететь назад в Сочи, не останавливаясь в Адлере, потому что здесь мы могли чего-нибудь дожждаться от здешних зелёных, в то время как в Сочи, хорошо или плохо, но мы уже были известны.

Мы ехали весь день, утешаясь красивыми пейзажами, проплывающими перед нашими глазами; к заходу солнца оставалось проехать каких-нибудь пятнадцать километров. Вокруг стояла тишина, изредка нарушаемая выстрелами; мы рассчитывали прибыть в Сочи до наступления ночи, чтобы не подвергнуться нападению со стороны бандитов. В небе появились первые звёзды, когда вдруг наш извозчик начал тихонько насвистывать, прекращая и после некоторой паузы начиная опять; лошадь медленно брела к большой каменной стене, под которой мы должны были проехать. Свист нашего возницы походил на сигнал, мы с Хельмером насторожились: *«Зачем он свистит?»* – вполголоса спросил я своего

товарища. В наших мозгах, должно быть, пронеслась одна и та же мысль: *«это сигнал бандитам, когда мы доедем до скалы, они на нас нападут»*. *«Тогда нечего время терять, – тихо сказал я. – Нужно что-то делать»*.

Хельмер дрожал, как лист, и принимать решение пришлось мне. Я внезапно схватил сзади извозчика за шею, да так сжал её, что он упал назад в повозку; Хельмер, обретя мужество, прыгнул на место возницы и стегнув лошадь, пустил её в галоп, а я продолжая сдавливать горло извозчика и оперевшись в его живот коленями, почти придушил его. *«Помилуйте, не убивайте меня, у меня жена и дети, возьмите все мои деньги, но оставьте мне жизнь!»* – хрипло закричал бедняга, в то время как Хельмер, не слыша его, продолжал хлестать бедную старую лошадь, временами рисковавшую свернуть себе шею и опрокинуть нас в тёмную пропасть рядом с дорогой.

Увидев сумку с деньгами, которые предлагал извозчик, я засомневался: *«Но зачем же ты тогда свистел?»* – спросил я его, всё ещё держа за горло. *«Чтобы заставить лошадь пописать!»* – ответил он дрогнувшим голосом. Я почувствовал, что краснею от стыда, и мне захотелось обнять старика за шею, которая носила видимые следы моих пальцев.

«Вставай, – крикнул я Хельмеру, – и уступи ему место»; но друг был настолько напуган, что ничего не соображал и продолжал, как сумасшедший, стегать лошадь. Наконец мне удалось его успокоить, и бедный извозчик вернулся на козлы. Мы были полумертвы от стыда и когда в полночь прибыли в отель «Русская Ривьера», то отдали старику все деньги, бывшие у нас при себе.

После всех этих приключений я был чрезвычайно подавлен, утратил всякую волю и все препятствия казались непреодолимыми; я больше не чувствовал себя Винкельманом¹²⁵, который пошёл пешком в Италию, и больше не считал себя сверхчеловеком. Я решил остаться в Сочи, пока ситуация не улучшится, а затем вернуться в Ростов. Впрочем, окружающий пейзаж немного напоминал Италию, и это меня утешало.

Я с вдохновением начал рисовать маслом портрет Хельмера, но последние события так расстроили меня, что я, казалось, уже не был способен держать кисть в руке; это состояние тревоги причиняло мне страдания, и я ничего не мог довести до конца.

Прошёл уже почти месяц после нашего возвращения в Сочи и за это время я познакомился с комиссаром зелёных, неким Пархаевым, у которо-

¹²⁵ Иоганн Иоахим Винкельман (1717–1768) – выдающийся немецкий теоретик и историк искусства.

го я вызвал такую симпатию, что он почти весь день проводил со мной. Он был полон революционных идей и во время наших прогулок, разговаривая об авангардистском искусстве и видя мою компетентность, предложил мне стать в Сочи комиссаром изящных искусств; он хотел выделить мне великолепную виллу и составил большую программу работы; но я, по правде говоря, был не очень польщён подобным предложением; я думал только с большим огорчением о портрете, который мне не удавался.

Возвращение весны вернуло мне комфорт и придало сил и веры; Хельмер также не хотел оставаться в Сочи, где не было возможности знать, что происходит в мире; газеты не выходили, мы жили в полном неведении и, следовательно, должны были на что-то решиться.

Когда мы вернулись из неудачной поездки на грузинскую границу, я надумал продать один из своих бриллиантов, чтобы было на что жить, но осуществить это было опасно и трудно. Однако, это удалось совершить с помощью Южного, давшего мне за камень половину его стоимости. Я не имел опыта в таких вопросах, и был счастлив хотя бы так решить проблему выживания.

С Южным мы иногда контактировали, так как продолжали жить в той же гостинице. Мне казалось, что в то же самое время он что-то замышлял, разговаривал с таинственными людьми, приезжавшими к нему на машине, одетыми как военные, но без каких-либо знаков различия; они не скрывали, что являются грузинскими офицерами.

Однажды Южный позвал меня в свою комнату и сказал: *«Я знаю, вы хотите бежать в Грузию, у меня есть разрешение от грузинских властей на въезд театральной труппы, ты понимаешь, что это стоило мне недорого, но если хочешь к нам присоединиться, то вот цена»*, – и он назвал мне ту сумму, которую я получил от него за мой бриллиант. *«Решайте как можно скорее, потому что пересечь грузинскую границу в ближайшее время никто больше не сможет»*.

Белые, временно отступившие в горы, с часу на час могли перейти в атаку на зелёных со всеми вытекающими последствиями гражданской войны. Мираж свободного мира мог исчезнуть навсегда, и без колебаний я согласился ехать. Хельмер тоже к нам присоединился. Мы начали подготовку к отъезду, не сказав ни слова Пархаеву, который тем временем показывал мне программы работы в комиссариате изящных искусств.

В назначенный день на рассвете мы собрались на небольшой площади на окраине, где нас уже ждали десяток повозок с багажом. Южный, в норковой шапке на своём черепе ходил взад и вперёд, как генерал перед своей армией; я уже передал ему требуемые деньги. Нам предназначалась последняя повозка, где также ехал пианист Флоров.

По сигналу Южного караван пришёл в движение. В первом экипаже был сам Южный со своей женой, размалёванной дамой неопределённого возраста с истерическим голосом, мать Южного, напоминавшая своего сына таким же черепом, и собака. Во второй занял место бывший депутат Патрикеев, со своей женой и сыном-идиотом; в третьей – некто Виноградов с висячими усами, которые странным образом делали его похожим на Горького, и представленный как профессор испанского языка. В остальных расположились бывшие буржуи Москвы или Петербурга, пузатые, бородатые мужчины, которые вообще не выглядели как актёры. Единственными, кто мог принадлежать к театральному миру, были известный баритон Шевелёв, пианист Флоров, Хельмер и я, среди прочих только у нас не было бород и усов.

Мы опять помчались по той же дороге, по которой месяц назад ехали к грузинской границе. Мы с Хельмером очень волновались, и надеялись, что будем пересекать границу ночью, не встретившись опять с тем грузинским командиром, бросавшимся на нас, как бешеный бык. К вечеру, прибыв к роковому мосту, караван остановился; Южный, как главный, перешёл через мост, чтобы переговорить с офицером гвардейцев и через некоторое время мы увидели, что он удаляется к домику комендатуры.

Он отсутствовал около часа, после чего вернулся к нам с блестящими глазами и от него несло вином. Он сообщил нам, что границу пересечём на следующий день, поскольку необходимо совершить некоторые незначительные формальности. Хельмер и я были весьма опечалены этим обстоятельством, всё время ужасаясь перед возможностью встречи с нашим «быком»; но ничего не оставалось кроме как ждать развития событий; поэтому мы все вышли из повозок в поисках места для отдыха. Нас завели в лачугу, где мы кое-как устроились на голой земле, используя в качестве подушек наши чемоданы.

Прежде чем мы отправились спать, Южный сказал нам, что он должен вернуться к грузинским офицерам, чтобы выпить за наше пересечение границы. Поэтому он попросил у всех пополнения средств, и пока мы

ворочались из стороны в сторону, не в состоянии уснуть из-за мучивших нас блох и клопов, слышали доносящиеся с другого конца моста крики, выстрелы и свист Южного, пьющего за наше здоровье. Я забыл сказать, что специальностью Южного был художественный свист, которым он исполнял все популярные марши и песенки, а также он был знаменит как чревовещатель. Всю ночь он развлекал нас исполнением своих самых известных номеров. В какой-то момент Южный опять появился в нашей хижине, не сильно церемонясь, поднял всех на ноги и попросил ещё денег, чтобы продолжать «обмывать» успех нашей поездки. *«Если я откажусь, – сказал он, – нас отправят назад»*, – и сопроводил это известие многозначительным жестом в виде пальцев, обхвативших шею.

Наконец наступило утро, караван тронулся и к счастью пересёк границу, не встретив ни малейших затруднений; офицеры, которые должны были досматривать наш багаж, не появились, а те, которых мы увидели, носили на лице хорошо заметные следы ночного возлияния. На этот раз кутёж не прошёл зря.

Так мы попали в землю обетованную. Дорога, отделяющая пограничный пост от Гагр была ещё красивее; мое сердце забилося от радости. *«Наконец-то я в свободном мире, – говорил я себе. – Никто больше не сможет бросить меня в тюрьму или отправить на смерть»*. Мой разум сразу же начал строить прожекты и планы уехать в Батум, а оттуда отправиться морем в Италию. Потом я сообразил, что наоборот лучше поехать в Тифлис, большой город, где я мог бы немного оправиться и наконец получить какие-то новости из дома, отсутствие которых меня очень угнетало с самого начала моего долгого путешествия.

И вот, наконец, Гагры. Наш караван въехал в живописный парк с чинарами, кедрами и водопадами, окружающими большой отель, «Принц Ольденбургский», где разместилась грузинская комендатура. Этот отель, конкурируя по роскоши и комфорту с отелями русской Ривьеры, представлял собой шестиэтажный дворец, построенный на скале, с большими террасами и спускающимися до самой улицы лестницами с балюстрадой.

Караван остановился перед главным входом. Я был в последней повозке с Хельмером и нас удивила сцена, которой, конечно же, мы не ожидали увидеть. На небольшой площади выстроилась шеренга грузинских военных самого высокого ранга, под командованием старого усатого, со всей грудью в орденах, генерала, держащего в руках покрытое кружев-

Гагры. Гостиница принца Ольденбурга



ной салфеткой традиционное деревянное блюдо с хлебом и солью, как принято в России при встрече дорогих гостей. Все сияли, а на золоте медалей и клинках шпаг празднично сверкало солнце.

Когда наш караван остановился, генерал отдал приказ оркестру играть, и мы были встречены раскатами триумфального марша. Генерал в окружении своей свиты, среди которой мы со страхом увидели нашего «быка», медленно спустился по лестнице, держа в руках хлеб и соль, и направился к первой повозке.

У меня лоб покрылся холодным потом. *«Что означает этот торжественный приём и все эти почести? Не может ли тут быть какого-то недоразумения, которое приведёт нас к трагическому финалу»*, – сказал я себе. Так как мы были в конце каравана, то не могли хорошо рассмотреть действие, разворачивающееся перед нашими глазами, но без нашего участия.

Генерал со свитой остановился возле первой повозки, откуда появилась долговязая фигура Южного; однако после того, как он приблизился к генералу, вместо того, чтобы вручить хлеб и соль главе нашей

компании, тот отдал их одному из офицеров, музыка вдруг прекратилась и зазвучали возбуждённые голоса.

Наш «бык» тоже выскочил из группы жестикулирующих, выкрикивая непонятные фразы, вдруг мы увидели, как Южный бросился на колени перед генералом, воздевшим руки к небу. Все кричали и отчаянно размахивали руками.

Похоже, мы опять попали в какой-то большой переплёт, и поэтому не стоило тратить время на ожидание его тяжких последствий. Поскольку мы были вдалеке от происходящего, нам не составило труда выйти с нашими чемоданами и быстро удалиться, не разбудив Флорова, спавшего пьяным. Мы проскользнули по одной из лестниц и очутились в парке.

По склону горы шли ступеньки, приведшие нас к верхним этажам гостиницы; коридорный, которого мы встретили, без проблем выделил нам номер, и мы заперлись внутри, чтобы скрываться пока ситуация не прояснится. Некоторое время мы не решались пошевелиться, пока к нам не пришёл тот же самый коридорный и не сообщил новости; оказалось, что разъярённый поначалу генерал хотел отправить всех обратно, но потом должно быть утихомирился, поскольку Южного и всех остальных в гостинице всё-таки разместили. К вечеру тот же вестник вернулся рассказать нам, что Южный срочно вызывает нас в свой номер для сообщения чрезвычайной важности. Я спустился в комнату нашего предводителя вместе с Хельмером; там мы нашли в полном составе весь наш караван и Южного, ходившего взад и вперед, заложив руки за спину, будто Наполеон накануне сражения.

«Вот, – вскричал он. – Мне действительно нужны вы оба, вы единственные, кто может спасти положение!» Затем он рассказал нам, что генерал из-за сходства фамилий перепутал бедного Южного с князем Сумбатовым-Южиным¹²⁶, грузином по происхождению, который был известным драматургом, актёром и режиссёром московских императорских театров. Грузинское правительство дало строгий приказ из России никого не впускать, но по настоянию генерала, считавшего, что речь идёт о прославленном актёре, было сделано исключение и именитому гостю выдали визу. По такому случаю и был подготовлен торжественный приём; но когда ошибка обнаружилась, ярость генерала был неукротима и за малым он не отправил всех обратно, если бы не таланты Южного. Припав к ногам генерала, целуя его туфли, он просил пропустить эту компанию



А. И. Сумбатов-Южин

¹²⁶ А. И. Сумбатов-Южин (1857–1927) – русский и советский актёр, драматург, театральный деятель. Его бабушка со стороны отца, грузинская княжна София Багратион-Мухранская, принадлежала к боковой линии Багратионов.

актёров, которых в случае возвращения ждала бы неминуемая гибель, а для искусства это стало бы невосполнимой утратой.

Подозрительный взгляд генерала переходил с одного бородатого лица на другое, но их измождённость и бледность смягчили его доброе сердце, да и Южный пустил слезу, тогда генерал предложил такую альтернативу: *«Если вы на самом деле актёры, то должны дать представление в нашем театре, в противном случае будете отправлены назад. Мои солдаты и население не посещали театр более года и будут счастливы вам рукоплескать, если же вы не актёры, убирайтесь вон!»*

Он хотел нашего выхода на сцену в тот же вечер, но Южному удалось оттянуть спектакль на четыре дня, чтобы успеть его отрепетировать до совершенства.

«Вот, – заключил Южный, обращаясь ко мне и Хельмеру, – вы двое можете спасти ситуацию, вы молоды, ярки, чисто выбриты, у вас лица коми-ков, в то время как другие не совсем подходят, мы уже всё распределили. Господин Патрикеев будет директором труппы, господин Чуев – кассиром, господин Виноградов Иван Матвеевич – суфлёр, господин Х – администратор, я – актёр и режиссёр, моя жена – примадонна, а вы – два главных действующих лица, пьеса уже готова, великолепный скетч, я сейчас же раздам вам роли, которые вы должны будете выучить». Он вытащил из чемодана кучу измятых и пожелтевших листов, и продолжил: *«Вот блестящий текст, называется «Пёстрая корова». Это пьеса, исполненная воодушевления и радости, завтра мы проведем первую репетицию».*

Мы с Хельмером возражали, объясняя, что никогда раньше не выходили на сцену, но все остальные, из-за страха быть высланными, принялись настаивать и даже угрожать кулаками, так что в конце концов мы уступили. Особенно высокомерно вёл себя бывший московский гласный думы, который во время поездки боялся и дрожал, но в этот момент он почувствовал в себе возрождение былого авторитета. *«Встать!»* – гаркнул он. – *Я приказываю вам играть!»* Его жена настаивала в таком же тоне, и нам пришлось с неохотой подчиниться. В конце концов мы согласились с тем, что Патрикеев оплачивал наше пребывание в гостинице, и это было решающим аргументом, потому что мы оставались теперь без денег.

Мы вернулись в свои комнаты учить роли. «Пёстрая корова» определённо не была гениальной пьесой: она рассказывала о некоем человеке, которому нужно было продать корову, он распространил об этом объявле-

ние, а поскольку у него была дочка на выданье, того, кто первым появился чтобы купить скотину, посчитали претендентом на руку дочери, и на этой ошибке было основано действие пьесы, закончившееся свадьбой.

Мне предназначалась роль отца, дочерью была жена Южного, женщина в свои пятьдесят очень привлекательная, жениха играл Хельмер. На наш вопрос, будет ли участвовать сам Южный, он ответил, что будет изображать импровизированного персонажа: того, чья задача – поднять моральный дух населения. *«Поскольку вы будете играть плохо, – сказал он, – я стану выходить время от времени на сцену и своими номерами буду хорошенько разряжать обстановку».*

На следующий день в Гаграх на всех стенах появились большие афиши, сообщающие о московской театральной труппе, под руководством известного режиссёра Ивана Южного, с участием великого актёра Гришина (это был я), Ремле (Хельмер) и Александровой (жена Южного). Во второй части программы должен был состояться концерт действительно знаменитого баритона Шевелёва и пианиста Флорова. Эти афиши были настолько внушительны и эффектны, что вызвали у нас самих убеждённость, что мы по-настоящему выдающиеся деятели театрального мира. Более того, когда мы выходили из отеля прогуляться, то замечали, что все попадающиеся нам офицеры, улыбаясь, радушно нас приветствуют, а компании молодых людей, когда мы проходили мимо, перешёптываются: *«Это знаменитые московские актёры!»* Наш кассир сделал великолепный сбор в кассе театра, вмещающего две тысячи человек¹²⁷, все билеты были проданы.

Но учить свою роль мне было очень скучно, казалось, что я вернулся в школу. Первая репетиция была назначена на следующий день и вечером мы с Хельмером вышли отдохнуть, уставшие от заучивания наизусть наших ролей, как два семинариста. Мы хотели узнать, есть ли пароход, который отплывал бы на юг, в искушении убраться подальше от границы и от опасностей. Вдруг к нам подошла группа молодых грузин в военной форме, и один из них робко спросил: *«Вы артисты, не так ли? Я любитель, студент тифлисского театрального училища; это мои друзья, восторженные поклонники театрального искусства. Позвольте с вами познакомиться, вы окажете нам большую честь; я всегда мечтал увидеть столичный театр, мы здесь живём два года без малейшего дыхания искусства; скажите пожалуйста, скажите мне что вы думаете о Гордоне Крэге¹²⁸?»*

¹²⁷ Опять же преувеличение автора. Здание ресторана «Гагрипш» было куплено принцем Ольденбургским на Парижской выставке и перевезено в разобранном виде. Кроме того, по замыслу принца, «Гагрипш» должен был стать местным храмом искусства. Помещение ресторана и сцена были приспособлены для того, чтобы быстро переоборудоваться в полноценный театрально-концертный зал на 350 зрителей.

¹²⁸ Генри Эдвард Гордон Крэг (1872–1966) – английский актёр, театральный и оперный режиссёр эпохи модернизма, крупнейший представитель символизма в театральном искусстве, художник.

Ресторан «Гагрипш»,
помещение которого
могло служить театром



«Хорошо о нём думаем», – ответили мы.

«Ага, – перебил нас грузин, – вы хорошо думаете о Гордоне Крэге! Какой парадокс, достойный столичных артистов; а что вы думаете о Станиславском?»

«Он хороший реалист!» – хрипло выдал я.

Молодой человек громко засмеялся. «Хороший реалист! Ничего мне больше не говорите, я всё понял. Какие утончённые люди в Москве! Вы – экспериментаторы из театра Таирова, я это заметил с первого взгляда и своим друзьям сразу же об этом сказал, правда?»

«Правда!» – ответили остальные, пристально глядя на нас большими чёрными глазами. «Вы настоящие экспериментаторы, для нас большая радость с вами встретиться; экспериментальный театр – мечта нашей жизни и мы вас просим позволить нам присутствовать на репетициях, а затем дать нам несколько уроков и пояснений об этом театре».

«А какое замечательное название «Пёстрая корова». Нам оно сразу понравилось, а какой глубокий смысл! Это должно быть авангардная

пьеса, мы так хотим её посмотреть!» Я сухо ответил, что на репетициях присутствовать вряд ли будет возможно, но в компенсацию мы бы дали им несколько технических и художественных советов. Грузины, верные своему общеизвестному гостеприимству, пригласили нас на банкет в нашу честь в тот же вечер.

«Маэстро Южному мы докучать не хотим, – заключил грузин, – но вы, я надеюсь, не откажетесь».

Вечером мы все собрались в кабачке, осушая многочисленные бутылки кавказских вин с названиями «Сазро» и «Напареули», закусывая вкуснейшим шашлыком. Было произнесено множество тостов в честь экспериментального театра, а также ругательств и проклятий в адрес Станиславского и Гордона Крэга.

Так как путь к отступлению был отрезан, я уже привык к образу великого актёра и под влиянием вина выдвигал самые смелые театральные теории, принимаемые грузинами с энтузиазмом и возобновлением криков вроде: *«Да здравствует экспериментальный театр», «Долой Станиславского!»* Мы вернулись домой на рассвете в сопровождении наших новых друзей, которые с нами больше не расставались ни днём, ни ночью.

Настало время первой репетиции, в которой госпожа Южная отказалась участвовать, утверждая, что такой актрисе, как она, нет никакой надобности тратить время на репетиции, и всё свелось к вопросам, хорошо ли мы выучили наши роли. Мне показалось, что я опять в гимназии, перед экзаменационной комиссией.

Четыре дня пролетели и настал вечер спектакля. С утра меня подташнивало и сердце колотилось, как во время сдачи экзаменов: *«Что же будет?»* – постоянно думал я. Мы с Хельмером побаивались наших фанатов, которые весь день крутились возле гостиницы, поскольку они с волнением предвкушали увидеть долгожданный спектакль и ни на минуту не давали нам покоя. По мере приближения часа представления волнение и тошнота, сопровождаемая сердцебиением, всё более ужесточались.

Декорации были устроены очень хорошо. В одном из театральных закутков мы нашли задник с изображением гостиной и своими неопытными руками кое-как его приспособили, но неустойчиво. На сцене мы также поставили фортепиано, которое должно было служить для концерта во второй части программы.

Ещё задолго до начала театр был переполнен; даже крестьяне, привлечённые масштабной рекламой, спустились с окрестных гор; в первом ряду сидел генерал со всем своим штабом. На меня надели парик, и наспех загримировали, разрисовав лицо морщинами и складками, что требовалось для роли старого отца.

Когда занавес поднялся, меня, ослеплённого огнями рампы, пробила дрожь, вдоль позвоночника побежали мурашки. Я ощутил пустоту перед замершим дыханием двух тысяч зрителей огромного зала¹²⁹; я был один на сцене, готовый начать, когда послышался пронзительный голос нашего суфлёра, господина Виноградова, говорившего так громко, что его было слышно даже на галёрке.

В ходе репетиций ему рекомендовали суфлировать очень тихо, но, возможно, эмоции заставили его потерять чувство меры. Зрители уже начали шикать и протестовать. Мгновенная встряска произвела во мне обратный эффект, так что мой тихий и робкий голос заглушался громким голосом суфлера, который пренебрегая сценическими требованиями декламировал роль на свой лад и с монотонностью пономаря, читающего псалмы, все больше и больше нас дезориентируя. Публика изредка подсказывала то одному, то другому: «тише» и «громче», кончилось это тем, что я совсем потерял ход мыслей. К счастью, теперь подошла очередь госпожи Южной, не слушая ни суфлёра, ни остальных, она выдавала всё, что приходило ей на ум, спасая немного и ненадолго ситуацию. Лично я всё больше и больше терялся и заметил, что играл на первой странице в то время как суфлёр уже дошёл до середины, зрители протестовали всё сильнее, тогда Южный решил выйти на сцену в своей роли незнакомца в надежде, что ему удастся своей непринуждённостью спасти то, что ещё можно спасти. Он внезапно появился в окне, насвистывая марш «Имперский орёл». Но этот выход вместо того, чтобы успокоить публику, распалил её ещё сильнее¹³⁰, в то время как он бесстрашно появлялся то тут, то там, продолжая насвистывать. Одновременно с этим я, потерявший нить действия, топтался на сцене, пытаюсь заставить публику меня расслышать, Хельмер тоже растерялся, оторопев, как и я, перед гнусавым голосом суфлёра. Зрители несколько раз принялись выкрикивать драматическое: «хватит!» и Южный, желая облегчить участь пьесы, попробовал последний раз появиться в окне, но плохо закреплённый задник рухнул, и акробат вверх тормашками свалился на сцену, со страшным грохотом увлекая за собой все декорации и подняв облако пыли.

¹²⁹ См. сноску на странице 111.

¹³⁰ «Орёл» — один из известнейших военных маршей Российской Империи, от которой Грузия только что отделилась.

Публика была возмущена и разъярена. Я видел только тысячи чёрных дыр, бывшие не чем иным, как ртами кричащих зрителей. В первом ряду генерал и все офицеры вскочили, кто-то уже с рукой на эфесе сабли, готовые вспрыгнуть на сцену, чтобы наказать виновных за такое жульничество.

До нас дошло, что от гнева разъярённой публики уберечь свои шкуры не получится. Но на этот раз следует признать присутствие духа у Южного, которому удалось нас спасти, вытолкнув из-за кулис пианиста Флорова с приказанием немедленно играть Шопена. В то время как публика продолжала кричать, в зале начали раздаваться волшебные ноты «Баллады си минор»¹³¹. В тот вечер пианист был в ударе и играл, не останавливаясь ни на минуту, переходя от баллад к прелюдиям, вальсам и к знаменитой сонате с похоронным маршем, в конечном итоге он завоевал внимание слушателей, снова усевшихся и вложивших оружие в ножны.

Генерал последовал общему примеру, выражение негодования и свирепости на его лице уступило место широкой блаженной улыбке, которая показалась нам полной снисходительного понимания. Флоров играл в течение часа, и когда выдохшись вынужден был откланяться, Южный отправил на сцену баритона Шевелёва, сразу же принявшего за пролог «Паяцев».

К концу программы всё было забыто и в зале раздавались самые восторженные аплодисменты. Южный, опасаясь, не устала бы публика, объявил среди зрителей конкурс кавказских танцев, с призами, состоящими из бутылок вина; эта инициатива так понравилась, что вечер закончился общим примирением.

Но не для нас с Хельмером. Уже в середине представления, отступив за кулисы, мы хотели покинуть театр и вернуться в отель, но господин Патрикеев посоветовал нам не двигаться, потому что у дверей нас поджидала группа неизвестных, желающих нас отлупить. Мы сразу поняли, что речь шла об актёрах-эксперименталистах, которые рано или поздно захотели бы свести с нами счёты.

Не дожидаясь конца вечера, мы вышли украдкой через заднюю дверь, и измученные избытком эмоций, добрались до отеля, где упали на кровати, закрывшись на замок и заложив дверь стульями. Пока мы собирались заснуть, я услышал, как кто-то стал бросать камешки из садового гравия в наше окно. Мы жили на последнем этаже, но, как я уже сказал,

¹³¹ Баллады в такой тональности у Шопена нет. Скорее всего, речь идёт о каком-то другом произведении.

здание было построено на холме, так что наши окна были на том же уровне, что и сад. Мы не подавали никаких признаков жизни, надеясь, что им надоест, но это не сработало, потому что удары продолжались и дальше, в какой-то момент я услышал, что меня зовут по имени. Потихоньку спустившись с кровати, я выглянул в окно, и смог в темноте разглядеть фигуру Завена, паренька, с которым я познакомился в Сочи. Бедняга находился в неопишемом состоянии: оборванный, босой, истощённый. Мы втащили его в окно, и хриплым от волнения голосом он рассказал нам, что неделю назад сбежал из сочинской тюрьмы и потом бродил по лесам и, перейдя границу через горы, попал в гостиничный парк. Днём он нас увидел, а поскольку мы были знакомы, он решил дожидаться ночи, чтобы попросить о помощи. Поскольку мы тоже не хотели оставаться в Гаграх, то согласились спрятать его у себя в комнате до нашего ближайшего отъезда.

Сложность проблемы, однако, заключалась в том, что как я, так и Хельмер были без денег и пока не было возможности продать бриллианты, так как эта операция всегда была очень опасна. Со своей стороны, Южный решил повторить представление и на самом деле мы ещё раз вышли на сцену, с большим успехом.

Тем не менее, в течение дня мы не выходили из-за страха встретиться с группой эксперименталистов. Южный весь сбор от спектаклей забрал себе и отчаянно пытался поставить другую пьесу.

К счастью, коридорный сообщил нам, что в порту было судно, готовое к отплытию в Потти и если бы у нас имелись деньги, можно было уехать, не испытывая никаких трудностей в передвижении внутри страны. Билет стоил пятьсот рублей, а у нас было только пятьдесят!

Завен, войдя в наше положение, обещал нам найти требуемую сумму: если мы предоставим ему наши пятьдесят рублей, вечером он принесёт две тысячи. Он объяснил нам, что был известным чемпионом по бильярду и намеревался зайти в кофейню, часто посещаемую офицерами, и всех обыграть. С другой стороны, наш риск был минимальным, потому что пятьдесят рублей – небольшая сумма, и поэтому мы решили попытаться счастья, доверившись Завену и его кию. Вместе мы пошли в выбранное нами кафе и наш друг пригласил одного офицера, которому во избежание подозрений одну партию он проиграл. Ободрённый успехом офицер с готовностью согласился на реванш, который закончился вничью. Тем не менее, когда ставка была удвоена, Завен блестяще выиграл, не давая

сопернику передышки. Наш товарищ играл поистине великолепно, и все завсегдатаи кофейни поднялись, чтобы подойти к большому столу, где один за другим следовали самые мастерские удары. К двум часам ночи у Завена накопилось более двух тысяч рублей и на следующий день он пообещал офицерам реванш, но все, однако, отнеслись с подозрением к этому незнакомцу, многим опустошившему карманы!

У нас не оставалось лишнего времени, и, расставив деньги по карманам, мы побежали в отель, чтобы собрать багаж. Коридорный нам помогал (возможно зная, что номера, в любом случае, оплатит Южный) и провёл нас к служебному выходу, где мы оставили для Южного прощальную записку.

В маленьком порту легко нашёлся наш парусник, и после того, как по всем правилам заплатили требуемую сумму, мы поднялись на борт, отчалив на рассвете и направившись под полными парусами на юг. Море было спокойным, и плавание проходило довольно приятно.

К полудню мы достигли Сухума, самого красивого городка на побережье Чёрного моря, с его заливом, похожим на японский пейзаж. Мы устали и были голодны, но не могли потратить оставшиеся деньги, потому что должны были заплатить за остальную часть пути в Тифлис или Батум.

Наш корабль весь день стоял на якоре в Сухуме, прежде чем завтра прибыть в Поти.

Мы проголодались, и Завен всё пытался встретить кого-нибудь, кто позволит выиграть у себя в бильярд немного денег, но днём кофейни пустовали и вопрос нашего аппетита угрожал остаться нерешённым, пока мне не пришла в голову одна идея. Я вспомнил, что в Сухуме жил один ростовский журналист, «Лоэнгрин» (как он подписывал свои статьи), известный своими фельетонами, время от времени печатавшимися в газетах. В прошлом мы были с ним знакомы, и он вроде бы был также другом моего отца. Мы выяснили, где жил этот Лоэнгрин, которого звали конечно по-другому, но как – уже не помню¹³².

Мы легко нашли его дом, расположенный на холме, среди деревьев небольшого красивого сада. Подойдя, мы позвонили в дверь и тут же в окне появился Лоэнгрин собственной персоной. Услышав наши имена, он нас впустил, приветствуя самым радушным образом. Было время завтрака, и из кухни доносился тёплый и ароматный запах блюд, который будоражил наш и без того большой аппетит.

¹³² Пётр Титович Герцо-Виноградский (1867–1929) – журналист, писавший в газете «Приазовский край» под псевдонимом «Лоэнгрин». Шилтян мог его знать лично, поскольку тот под тем же псевдонимом сотрудничал с журналами «Искусство» и «Донская волна», которые иллюстрировали Шилтян и Аладжалов.



Атмосфера была очень приятная, кресла удобные, вид на море воодушевляющий; я начал рассказывать подробности гражданской войны, говорил о боях на улицах, о беженцах, о доносах, расстрелах, облавах, сыпном тифе и массовых убийствах. Наш хозяин слушал, кивая головой, а я, всё ещё возбуждаемый хорошим запахом, исходящим из кухни, продолжал говорить, не обратив внимания, что в какой-то момент Лознгрин нацепил пенсне и стал упорно рассматривать ворот моего пиджака. Внезапно, налившись краской, он воскликнул:

«Но что это у вас на воротнике?» Я посмотрел и увидел большую, медленно ползущую вошь.

«Вошь», — сказал я спокойно, при этом поймав её, чтобы бросить на землю. Лознгрин вскочил, как будто его укусила гадюка, и пятясь, отошёл к порогу комнаты, взволновано крича дрожащим голосом: «Не настаиваю, не настаиваю, чтобы задерживать вас на завтрак».

На крики своего мужа прибежала жена, и к ним на помощь присоединился также садовник, из-за чего мы были вынуждены позорно retirроваться.

Вернувшись в город с пустыми желудками, мы купили немного хлеба, и сели на скамейке на улице, в ожидании благоприятного времени, чтобы сыграть партию в бильярд, что позволило бы поправить наши дела. Чтобы скоротать время, мы прогуливались по набережной, но нам навстречу попались трое, среди которых был один военный, они подошли к нам и подозвали Завена, обыскав и допросив которого, объявили его арестованным.

К счастью, нас не тронули, но мы были вынуждены продолжить своё путешествие без нашего доброго спутника, лишившись его необычайного мастерства игры в бильярд.

На голодный желудок мы поднялись на наш парусник, направляющийся в Поти, крупнейший порт Грузии, расположенный в устье реки Риони, в болотистой и малярийной местности. Нам было очень грустно, потому что мы хотели продолжить путь в Батум, находящийся сейчас в руках союзников, но для этого нужно было иметь визу, в которой нам отказали. Не зная, что делать, мы решили поехать в Тифлис, где у Хельмера были родственники, так как из этого города, столицы Грузии, было возможно достичь Батума.

У нас оставалось мало денег, я продал свой кожаный чемодан, а Хельмер – свою одежду, чтобы набрать необходимую сумму. В Поти я заметил на рейде корабль триестской регистрации «Город Милан», готовый отчалить к моей земле обетованной.

Вот наконец-то Тифлис. Я сразу же был очарован его живописным видом в окружении пологих холмов и великолепных гор, монументальными дворцами, древними крепостями, грандиозными бульварами, ресторанами и кафе, наполненными элегантной и жизнерадостной публикой. Он напоминал настоящий европейский город, с дворцом для художественных выставок под названием «Храм Славы», большим оперным театром неподалёку от кафе «Химериони»¹³³, где встречались поэты и художники, обсуждавшие проблемы кубизма и дадаизма. Был также ресторан¹³⁴, оформленный художником Судейкиным¹³⁵ и различные ночные кабаре.

Небо было ослепительно голубым, большие горы обрамляли город, а на гору Давида поднимался фуникулёр. Река Кура, неудержимый и шумящий поток горной воды желтого цвета, как в Арно¹³⁶, пересекала Тифлис. Древние арочные мосты, средневековая крепость Метехи, расположенная в середине восточной части города с узкими улочками и базаром, напоминали о «Тысячи и одной ночи». На Головинском¹³⁷, главном проспекте, среди баров и кафе с террасами, бродили элегантные армянские и грузинские господа, одетые по последней моде журнала «Вог», офицеры грузинской и союзнических армий, среди них итальянцы в классических накидках. Там был даже Джинетто Бономи¹³⁸, с которым я много лет спустя познакомился в Милане.

¹³³ Знаменитое литературно-художественное кафе, где собиралась тифлисская творческая интеллигенция, находилось в подвале здания нынешнего драматического театра.

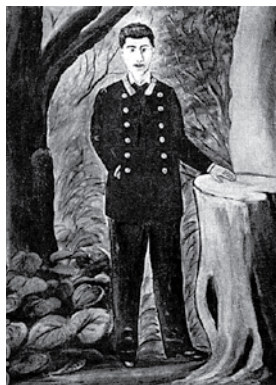
¹³⁴ Имеется в виду кафе «Ладья аргонавтов».

¹³⁵ Сергей Юрьевич (Георгиевич) Судейкин (1882–1946) – русский художник – живописец, график, художник театра.

¹³⁶ Река, пересекающая Флоренцию.

¹³⁷ Теперь проспект Руставели.

¹³⁸ Скорее всего речь идёт о Джинетто Луиджи Бономи, одном из миланских архитекторов и коллекционеров произведений искусства.



Портрет уроженца Тифлиса, художника-футуриста Ильи Зданевича работы Нико Пиросмани

¹³⁹ Амфитрион — персонаж древнегреческой мифологии, благодаря одноимённой пьесе Мольера имя получило нарицательное значение — гостеприимный хозяин.

¹⁴⁰ Кирилл Михайлович Зданевич (1892–1969) — грузинский советский художник, старший брат Ильи Зданевича. Испытал влияние кубофутуризма. Работал в театре, выступал как график и художник книги.

¹⁴¹ Анри Жюльен Феликс Руссо (1844–1910) — французский художник-самоучка, один из самых известных представителей наивного искусства или примитивизма. Был таможенным служащим, за что получил прозвище «таможенник Руссо».

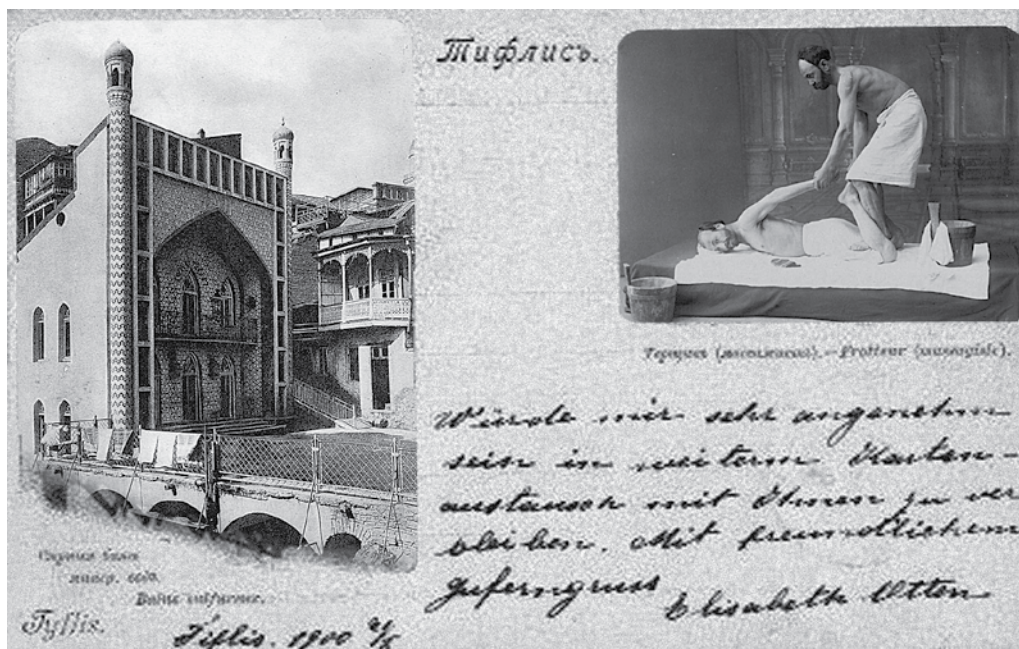
По маленьким улочкам старого города ходили, смешиваясь с толпой, ослики, везущие на спинах гроздьё глиняных горшков, наполненных кислым молоком, которое там называют мацони.

За восточной частью города простиралась армянская, где деревянные дома с живописными резными балконами сверкали на солнце разноцветными витражами. В окна выглядывали старые армянки в своих традиционных чёрных или сиреневых шёлковых костюмах и характерных чепцах, обёрнутых вышитой вуалью.

Тифлис дышал воздухом оптимизма, во многом благодаря характеру населения, и особенно знаменитым кинто, своего рода торговцам-разносчикам, легендарным бродягам, рассказчикам остроумных историй.

Нигде в мире не существует таких кабачков, как в Тифлисе. Здесь, в этих духанах, пьют вина «Саэро» и «Напареули» и в течение двадцати четырёх часов в сутки пиршествуют. Роскошные застолья в этой стране являются традицией, и мне довелось видеть, как люди участвуют в них с вечера до утра следующего дня, собираясь вокруг накрытых столов, где некто производит длиннющий тост с кувшином вина в руке. Грузин всегда находится в состоянии эйфории, благорасположен в любое время кутить, веселиться, а в том случае, когда не хватает сотрапезников, празднует один, нанимая длинный караван повозок, по большей части пустующих, и разъезжая по улицам города среди одобрительной и любопытствующей толпы. Только последняя повозка с шарманкой, играющей любимые песни, занята амфитрионом¹³⁹ в невообразимой позе с бутылкой вина в руке. Необычная процессия продолжается до тех пор, пока празднующего, пьяного до безобразия, не высадят, уже без единого гроша, и даже бросят в канаву, где он протрезвится и продолжит на следующий день свою нелёгкую жизнь разносчика.

Жизнь и обычаи этой страны нашли своего поэта в произведениях художника-примитивиста Пиросманашвили, чьими картинами я смог полюбоваться у художника Зданевича¹⁴⁰. Я остался очарован необычной поэзией, которая исходила из этой живописи, выполненной на клеёнке, не меньше той, что была у таможенника Руссо¹⁴¹. Ведя жизнь бродяги, Пиросманашвили украшал все тифлиссские кабачки, а когда у него заводилось немного денег, тоже устраивал такие кортежи, о которых я говорил. Только после своей смерти он был открыт тифлисскими интеллигентами, опубликовавшими монографию о его произведениях. У меня даже было одно из них, украденное потом в Париже одним монпарнасцем.



Орбелианские серные бани

По приезде в Тифлис мы озаботились тем, чтобы привести себя хоть немного в порядок и принять достойный внешний вид, именно поэтому мы первым делом пошли в знаменитые бани, названные именем князя Орбелиани, в самом центре восточной части города: о них рассказывали чудеса, как об эликсире долголетия. Мы спустились в освещённый мягким светом фонарей подвал очень старого здания со сводчатым, как в катакомбах, потолком, и вошли в раздевалку, откуда совершенно голые перебрались к месту, где бьют источники, выложенному голубыми изразцами. Бесчисленное множество фонтанов там извергало горячую, немного парящую минеральную воду. Однако это была только комната отдыха; каждый купающийся заходил затем в маленький отсек, также выложенный мозаикой в виде странных цветов и животных, где стояла керамическая скамья рядом с небольшим фонтаном, из которого била горячая вода.

Я собирался помыться, когда банщик, сопровождавший меня, попросил улечься на скамью. Это был старый маленький перс, почти карлик, худой, как скелет, с крашеной красной бородой, шафрановыми подошвами на ногах, он держал в руках своего рода наволочку, доверху набитую.

Как только я растянулся на скамье, он гибким прыжком танцора вскочил на моё тело, начав причудливую пляску и, постукивая меня иногда этой наволочкой, наполненной мыльной пеной, в то же время, прыгая как акробат, руками и ногами массировал все мои члены, и я и он были окутаны облаком пара и пены; от его массажа из пор выходили целые пласты жира, подобно тёмным червям, одновременно он со знанием дела вертел меня в разные стороны, чтобы привести в порядок все мои мышцы. Операция длилась около двадцати минут; когда малютка перс закончил, он слез на землю и показал мне тёплый фонтан, в котором мне следовало обмыться.

Придя в себя под чудотворной струёй воды, я вошёл в комнату отдыха свежим, бодрым и лёгким, каким никогда себя раньше не чувствовал, весёлым и улыбающимся, как будто я был свидетелем смешного представления; у меня была светлая и гладкая кожа, как у ребёнка, и я ощущал себя невероятно эфирным, словно находился в астральном теле, способным на невообразимые жесты и прыжки, и вся кровь кипела, невесомая, в венах.

По возвращении на улицу, у Хельмера и у меня сложилось впечатление, что мы видим мир в новом свете и, так как у нас разыгрался аппетит, мы зашли в одну из таверн, неподалеку от реки, устроившись на террасе, под которой протекали неуправляемые воды Куры; нам подали кебаб, баранину на вертеле с пряностями, хлеб, поджаренный на углях, называемый «чурек» и стаканчик ракии¹⁴².

Мой друг Хельмер оставил меня, чтобы сходить к каким-то своим родственникам, богатым торговцам, которые могли бы дать ему возможность уехать за границу. С его помощью я продал один из моих бриллиантов, получив сумму, нужную для обзаведения новыми вещами; я намеревался ехать в Батум и оттуда уплыть на пароходе в Италию. После четырёх месяцев скитаний, я, наконец, очутился в очаге цивилизации, где мог бы получить известия о своем доме и семье.

Соотечественники, встреченные в Тифлисе, знали, что Ростов был взят, оставлен и снова взят красными. Говорили о кровопролитиях, насилии, грабежах, пожарищах, кошмаре гражданской войны. Озабоченность судьбой моих родных и близких не давала мне покоя, я не мог спать и снова обвинял себя в эгоизме, который увёл меня так далеко от се-

¹⁴² Ракия — крепкая анисовая водка (Прим. авт.).

мы, оставленной мной на произвол революции. Я задавался вопросом, не было ли решение уехать из России безумием, не было ли, наоборот, моим долгом вернуться домой, чтобы находиться рядом с родными, без сомнения, переживающими тяжелейшие времена. Но помимо этого, проблема продолжения поездки становилась всё труднее и труднее; армянский паспорт для меня был бесполезен, его не было достаточно, чтобы я смог достичь цели. Требовалось ещё просочиться через визовые фильтры, и это стало моей навязчивой идеей, при этом я с горечью думал о всех преступниках, которые путешествовали по миру без проблем и без суесть, со всеми законными документами.

Приходилось повторять всю историю по второму кругу, получить другой паспорт, с выездной визой, действительной для Батума, где мне нужно будет искать другую визу, в Италию. Наверное, можно было бы уехать и нелегально, но я боялся брать на себя риск попасть в тюрьму: единственной альтернативой оставалось найти другой паспорт, что было не так легко.

Между тем я снял комнату вместе с одним поэтом-эстетом, Эльснером¹⁴³, беженцем, как и я, очень образованным и приятным человеком, но ужасно скупым до такой степени, что он всегда ходил дома совершенно голым, чтобы не приобретать одежду. Через него я познакомился с интересными людьми Тифлиса, в тот период изобиловавшего интеллектуалами, стёкшимися со всей России: там был Судейкин, известный художник и сценограф, чья красавица жена Вера, после его смерти, вышла замуж за Стравинского¹⁴⁴, портретист Сорин¹⁴⁵, который позже сделал блестящую карьеру в Нью-Йорке. Крайне левые были представлены художником Зданевичем, чей брат Илья¹⁴⁶, живущий до сих пор в Париже, получил некоторую известность как поэт-дадаист среды Монпарнаса.

Оба были очень добры ко мне и пытались ввести меня в интеллектуальную среду Тифлиса, куда входили также Николай Николаевич Евренев¹⁴⁷, известный автор комедии «Самое главное», имевшей большой успех в Италии, футурист Каменский, музыкант Черепин¹⁴⁸ и многие другие.

Каждый день из России прибывали и другие представители мысли и искусства, которых встречали с распростёртыми объятиями. Поэзия переживала свой расцвет, поэты были в моде, только в одном этом городе их можно было насчитать несколько сотен. Среди грузинских поэтов,

¹⁴³ Владимир Юрьевич Эльснер (1886–1964) – переводчик, поэт-подражатель, в истории литературы его чаще всего вспоминают как об одном из шаферов на свадьбе Н. Гумилёва и А. Ахматовой.

¹⁴⁴ Вера Артуровна Судейкина (урожд. де Боссе, в замуж. также Люри, Шиллинг, Стравинская) (1888–1982) – актриса Камерного театра и русского немого кино, художница прикладного искусства, живописец. Игорь Фёдорович Стравинский (1882–1971) – русский композитор, дирижёр и пианист, ключевая фигура музыкального модернизма, один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры XX века.

¹⁴⁵ Савелий Абрамович Сорин (Завель Израилевич Савий; 1878–1953) – русский художник-портретист.

¹⁴⁶ Илья Михайлович Зданевич (1894–1975) – российский и французский писатель, теоретик русского авангарда и дадаизма, издатель, художник.

¹⁴⁷ Правильно Евреинов, Николай Николаевич (1879–1953) – русский и французский режиссёр, драматург, теоретик и преобразователь театра, историк театрального искусства, философ, музыкант, художник и психолог.

¹⁴⁸ Правильно Николай Николаевич Черепнин (1873–1845) – композитор, педагог.

¹⁴⁹⁰ Тициан Юстинович Табидзе (1895–1937) – грузинский и советский поэт.

¹⁵⁰ Паоло Джибразлович Яшвили (1895–1937) – грузинский советский поэт и общественный деятель.

¹⁵¹ Георгий Артемьевич Харазов (1877–1931) – грузинский экономист и математик армянского происхождения. Шилтян ошибается, называя его философом в буквальном смысле этого слова, Харазов на самом деле был необычайно разносторонней личностью – увлекался проблемами теоретической физики и механики, применял методы психоанализа в характеристике литературных персонажей, был активным участником литературно-поэтической жизни Тифлиса и Закавказья. Также Шилтян ошибается в причастности Харазова к Женевскому университету – до Тифлиса Харазов работал в университетах Цюриха и Лозанны.

¹⁵² Григол Титович Робакидзе (1880–1962) – грузинский писатель, поэт, беллетрист, драматург, критик; представитель

были известны Тициан Табидзе¹⁴⁹, всегда ходивший с медведем на поводке, и Паоло Яшвили¹⁵⁰, оба возглавляли два противоположных течения, находясь в вечной войне друг с другом. Все эти люди собирались в кафе, тавернах и кабаках для бесконечных философских и художественных дискуссий, иногда распаляясь до рукоприкладства. В философии доминировали два направления, одно возглавляемое армянским философом профессором Харазовым¹⁵¹, а другое грузинским поэтом Григолом Робакидзе¹⁵²: первый преподавал в Женевском университете, был марксистом, либералом и специализировался в психоанализе; Робакидзе, из Гейдельбергского университета, был мистиком. Мне довелось присутствовать на очень горячем диалектическом поединке между главами двух вышеупомянутых тенденций, одном из тех поединков, которые иногда доходили до пароксизма (один раз я видел, как Робакидзе ударил Харазова), и можно было бы иронизировать по поводу их сути и значимости, если бы они не несли в себе зародыши ужасных событий¹⁵³. Робакидзе, элегантный человек, носивший монокль и котелок на бритом черепе, переехал позже в Германию, как теоретик расизма, близкий друг и почти вдохновитель Гитлера.



Стоят Т. Табидзе и
П. Яшвили, сидит крайний
справа – Г. Робакидзе.

Среди художников, наиболее многочисленными были, конечно, эпигоны стиля помпье¹⁵⁴, но существовали и представители современных тенденций; многие из них были сезаннистами, пикассианцами и футуристами. Самыми крайними являлись Зданевич, как я уже говорил, и Кочар¹⁵⁵, армянин, позже мы с ним виделись в Париже. Но самым одарённым из всех был Бешбенк¹⁵⁶, который рисовал, несколько вдохновляясь итальянскими примитивистами, но используя местные сюжеты, и слегка напоминал нашего Узеллини¹⁵⁷. Больше я о нём не слышал и надеюсь, что ему удалось преуспеть. Другим одарённым художником, чья выставка натюрмортов и портретов в манере Дерена занимала в «Храме Славы» всю стену, был Володя Боберман¹⁵⁸ из Москвы, ученик известного московского художника Машкова¹⁵⁹; его картины мне очень понравились, а через Зданевича я стал вхож в его дом.

¹⁵³ Всё происходило на грандиозном вечере, устроенном Ильёй Зданевичем в кафе «Интернациональ» в честь актрисы Мельниковой, иногда читавшей его стихи. Вот как это событие описывает другой свидетель, нижеупомянутый В. А. Катанян: «Харазов обвинил Робакидзе, что у него неудачная рифма в стихотворении «Негры в белых париках». Робакидзе ответил, что у него такой рифмы нет и быть не может. Тогда Харазов сказал: «Вы врётё и лжётё». Эти слова услышал Яшвили, сидевший за соседним столиком. Он подбежал к Харазову и сказал, что Григол никогда не врёт. После чего Робакидзе дал Харазову пощёчину и последний вызвал его на дуэль. Ладо Гудиашвили рассказывал, как проходила дуэль. Она состоялась на горе, в том месте, где сейчас стоит монумент «Мать-Грузия». Робакидзе запаздывал. Кто-то поехал к нему домой. Робакидзе сидел на диване в облаке порохового дыма, тренировался в стрельбе. Он был уверен, что его убьют. Когда он, наконец, приехал к месту дуэли, Харазов отказался стрелять. Илья Зданевич выстрелил в воздух, и все разбежались».

¹⁵⁴ Искусство Помпье (фр. *rompierreisme*) – манера французских художников, работавших во времена Второй империи, характеризующаяся показной выразительностью форм и плоским академическим реализмом. Эти художники продолжали прославлять Древнюю Грецию, Древний Рим и их героев, обычно вооруженных доспехами и большими шлемами, именно за эти эффектные наряды авторы получили прозвище *romprieers*, буквально – пожарные (см. картину Гюстава Курбе «Пожарные, бегущие к огню», 1850 г.). Так французы, играя на сходном звучании сразу трёх слов: *rompreien*, «помпейский», *rompreux*, «напыщенный» и *rompreur*, «пожарный», – называли свой выродившийся в салон неоклассицизм, сменивший красоту на смазливость и эротизм, а героика – на чванливость.

¹⁵⁵ Ерванд Семёнович Кочар (Кочарян) (1899 – 1979) – армянский скульптор и художник. Народный художник СССР.

¹⁵⁶ Имеется в виду Александр Александрович Бажбеук-Меликов (1891 – 1966) – советский живописец, художник и колорист армянского происхождения, заслуженный художник Грузинской ССР (1961).

¹⁵⁷ Джанфилиппо Узеллини (1903 – 1971) – итальянский художник.

¹⁵⁸ Владимир Абрамович Боберман (1897 – 1987) – русский и французский живописец, график, сценограф, художник декоративно-прикладного искусства, брат Е. А. Боберман (впоследствии супруги Г. Шилтяна) и художницы З. А. Готьё, последние годы жизни провёл в Испании. Родители Владимира, Елены и Зинаиды Боберман погибли в Освенциме.

¹⁵⁹ Илья Иванович Машков (1881 – 1944) – русский советский художник, входил в группу «Бубновый валет».

декадентской буржуазной литературы; один из зачинателей грузинского символизма. Шилтян ошибается, утверждая, что Робакидзе учился в Гейдельбергском университете, он окончил Лейпцигский, в Гейдельбергском получал образование Харазов как математик. Нижеследующие утверждения о взаимоотношениях Робакидзе с гитлеровским режимом тоже не так однозначны.



Владимир Боберман, брат жены Григория Шилтяна Елены



Елена Боберман



Василий Катанян

Семья Боберманов бежала из Москвы и жила в меблированных комнатах у одной армянской семьи. Когда я к ним пришёл в первый раз, Бобермана не было дома, и открыть дверь подошла его сестра; эта встреча для меня была судьбоносной, потому что та изящная девушка впоследствии стала моей женой.

Я сразу же был сражён её свежей улыбкой, её живостью и умом. Я её уже замечал: в один из первых вечеров после моего прибытия в Тифлис, мы с Хельмером пошли в оперный театр, чтобы послушать «Сказки Гофмана», и в фойе меня поразила девушка с красивыми светлыми косами, оживлённо беседующая с каким-то длинноносым брюнетом, у которого были напояженные волосы и запачканные белые гетры поверх лакированных туфель.

Позже я познакомился с этим уайльдианцем, по фамилии Катанян¹⁶⁰, симпатичным молодым человеком, сыном одного из лучших тифлиских врачей, в чьём доме увидел красивый натюрморт с рыбами работы Снейдерса¹⁶¹, от которого до сих пор сохранил впечатление.

С Боберманом мы стали неразлучными друзьями, и начали очень часто вместе проводить время, посещая кафе, театры, кино. Мать моего нового друга была очень умной и жизнерадостной женщиной, и всегда относилась ко мне с материнской теплотой; ещё она любила искусство и художников, и дома у неё собирались молодые тифлиские интеллектуалы.

Боберманы очень обрадовались, получив, наконец, известия от отца, с которым из-за революционных перипетий они были в разлуке в течение почти двух лет. Так как он прибыл в Батум, семья решила перебраться из Тифлиса в этот город, Володя же, как и я, намеревался уехать в Италию, где продолжил бы своё художественное образование.

Моя душа, однако, была полна печали и тревоги; мои настойчивость и вера в себя ослабевали. Всё чаще и с большей ностальгией я думал о своей семье, и потому ещё, что ежедневно приходили драматические известия о Ростове и особенно о кошмаре гражданской войны. Я в течение четырёх месяцев находясь в мясорубке, не прекращал думать о своём доме. И сейчас, живя в столь спокойной и обычной обстановке, чрезвычайно волновался, не находя покоя. Облик мирной семьи, какой могла бы быть моя, каждое мгновение напоминал мне о трагической реальности. Я не чувствовал возможности продолжать своё долгое путешествие, не получив прежде известий от своих родных. Я хотел бы знать, по крайней

¹⁶⁰ Василий Абгарович Катанян (1902–1980) – литературовед, писатель, биограф Владимира Маяковского.

¹⁶¹ Франс Снейдерс (1579–1657) – фламандский живописец, мастер натюрмортов и анималистических композиций в стиле барокко.

мере, здоровы ли они, сохранился ли наш дом, есть ли у них средства, необходимые для самых насущных потребностей. Я всё ещё надеялся получить некоторые известия из Ростова, но между нами уже была возведена навсегда суровая и жестокая преграда.

Мои сомнения не были лишь плодом моей слабости, скорее, пожалуй, моего подсознания, находящегося перед выбором между двумя цивилизациями, двумя совершенно противоположными понятиями о жизни и двумя мирами, разделёнными резкой гранью.

К весне 1920 года Гражданская война почти закончилась; белые были разбиты; генерал Деникин и его армия бежали в Константинополь; лишь незначительная часть армии под командованием генерала Врангеля решила сопротивляться в Крыму, защищая этот последний бастион от красных.

Таким образом, Северный Кавказ оставался в руках красных, а Грузия теперь граничила с Советской Россией. В Тифлисе было много молодых людей, как и я, беженцев с Кубани и Дона; я также встретил некоторых коммунистов из Ростова, которые во время белой оккупации нашли убежище в Грузии и теперь, наоборот, собирались возвращаться домой. Я вручил одному из них, кого знал с самого детства, несколько писем для моей семьи, где рассказывал о себе и умолял, чтобы они сделали то же для меня при любом удобном случае. Я решил не уезжать, пока не узнаю хоть что-нибудь из дома и тогда же, чтобы не терять время, начал работать.

Приобретя холсты и краски, я принялся за создание натюрморта из красивых фруктов, купленных на тифлиских рынках; но работа мне не удавалась, я никак не мог сосредоточиться; пауза слишком затянулась, и ниточка, на которой всё держалось, оборвалась, если можно так выразиться.

Я жил в меблированной комнате в доме старого адвоката, немного напоминавшем наш; там тоже жила мать с детьми, и это расстраивало меня, заставляя постоянно думать о своём доме.

Пока я рисовал, слушая их разговоры, вспоминал то время, когда я работал в своей комнатке, и как моя мама звала меня на завтрак; как иногда не мог оторвать кисть от особенно интересной части, мамин голос настаивал; но я не мог прерваться, пока не входили мои брат с сестрёнкой, смеясь, забирали из моих рук палитру и кисти и силой вели меня к столу.

¹⁶² Так Елену Боберман называли в семье, так её звал и Г. И. Шилтян.

Ум был поглощён образами родных, и работа не продвигалась. Единственным утешением были мои прогулки с Лилли¹⁶², с которой я потом ходил смотреть новые американские приключенческие фильмы.

А из дома никаких известий.

Через некоторое время мне удалось получить, заплатив большие деньги, паспорт Республики Армения, на этот раз с законной выездной визой в Батум, и я начал серьёзно думать об отъезде.

Многие молодые люди, в моём состоянии, возвращались в Россию, чтобы вернуться к своим семьям после немалых разочарований; я тоже колебался, но когда изучил этот вопрос до конца, понял, что путь назад для меня был исключён. Усталость исчезла, синее небо Тифлиса заставило меня снова мечтать об Италии; я намеревался подождать новостей от родных, а затем, уже не колеблясь, продолжать долгий путь. Тогда я подумывал о переезде в Батум, откуда почти еженедельно отправлялись пароходы триестской приписки в Триест и Венецию.

Семейство Боберманов уже уехало в Батум для воссоединения со своим отцом, так что, как только документы были готовы, я попрощался со своими знакомыми и прекрасным Тифлисом и сел в поезд.

Батум, город на берегу Чёрного моря, тогда был оккупирован союзниками¹⁶³. В своё время он насчитывал около пятидесяти тысяч жителей, из-за последовавших бурных событий население выросло до трёхсот тысяч, и, возможно, даже больше. В Батум стекались те, кто смог спастись от бедствий войны, здесь они готовились к долгому и страшному мытарству эмиграции по всему миру, которое продолжается до сих пор.

Богатые и бедные, случайно объединённые вихрем гражданской войны князья, генералы, офицеры, солдаты белой армии, банкиры, врачи, юристы перемешались с официантами, простыми торговцами, крестьянами, мелкими ничтожествами. Эта беспокойная толпа бродила по узким улочкам города, в котором было почти невозможно найти угол для ночлега. В каждой комнате жило по несколько семей, постель ценилась на вес золота. У всех было ощущение временности этой жизни, все представляли себе, что для подготовки к дальней поездке требуется достаточно средств, а для их получения приходилось извлекать выгоду из того малого, что уцелело в катастрофе. Таким образом, доля всякого рода спекуляций и чёрного рын-

¹⁶³ После поражения Германии и других стран «Четверного союза» в Первой мировой войне турецкие войска оставили Батум, и в 1919 г. он стал британской оккупационной зоной.

ка достигла гигантских размеров, а поскольку население Батума и Грузии нуждалось абсолютно во всём, каждый день в порт приходили суда, нагруженные разным товаром, оптом скупаемым спекулянтами, вздувавшими цены прежде чем товар дойдёт до потребителя.

На улицах Батума не было видно никого, кто не занимался бы самыми разнообразными сделками. Самым выгодным был обмен валют, и каждая лачуга на окраине в зародыше была обменным пунктом. Все суежились в попытках заработать как можно больше, чтобы поскорее уехать из Батума, дни свободы которого были, по всеобщему мнению, сочтены.

Находились и такие, кто хотел заработать деньги ещё быстрее, и до невообразимых размеров развился бандитизм. Образовалось несколько игорных домов, организованных румынскими крупье, и каждый вечер в эти клубы вторгались разбойники в масках, которые грабили играющих, в жилых домах тоже совершались кражи. Полиция была бессильна обуздать беспорядок, возможно, разбойники были теми же самыми, кто при свете дня вёл себя как деловые люди.

В городе скопилось огромное богатство, состоящее из украденного, награбленного и уцелевшего в трагических событиях гражданской войны.

Белые генералы с лицами разбойников, всё ещё носившие форму, обвешанные наградами с головы до ног, тратили и прожигали последние рубли, извлекавшиеся из голенищ сапог.

Генерал Шкуро, этот мясник в шапке из волчьей шкуры, носил с собой сокровища, мешок с бриллиантами и золотом, свою военную добычу, однако и он был ограблен бандитами с применением силы в одном из игорных заведений, где случайно метнул на зелёное сукно пригоршню золотых монет.

Как я уже говорил, найти жильё было невозможно. Мои друзья Боберманы жили в банке и спали на столах в зале заседаний.

Однажды я случайно встретил на улице ростовского друга детства – журналиста Ветлугина¹⁶⁴. Эта встреча стала для меня роковой. Жил он в пригородной гостинице, где делил комнату с шестью другими людьми, он сказал мне, что там мог бы жить и я. Я обрадовался такому выходу из положения, это было лучшее из того, что я мог ожидать, учитывая, что мне также досталась койка без матраса, на которой перед сном я расстилал своё пальто. Одним из сожителей был известный капитан Баранов,



¹⁶⁴ Владимир Ильич Рындзюн, известный под литературным псевдонимом А. Ветлугин (1897–1953) – писатель, публицист, журналист, автор произведений «Авантюристы гражданской войны» (Париж, 1921), «Третья Россия» (Париж, 1922), «Записки мерзавца» (Берлин, 1922). Родился в Ростове-на-Дону в семье врача И. Г. Рындзюна, управлявшего крупной водолечебницей. Сопровождал Сергея Есенина и Айседору Дункан в Америку в качестве секретаря и переводчика. В США – редактор популярнейшего иллюстрированного американского журнала для женщин «Redbook», затем заведующий сценарным отделом киностудии «Метро-Голдвин-Майер», впоследствии продюсер.

кокаинист, изверг, легендарный герой всей Белой армии, ужас и кошмар красных. Этот субъект, почти всегда полусонный от действия наркотиков, готовился к отъезду, спекулируя валютами.

На вторую ночь после моего прибытия, гостиница подверглась бандитскому нападению.

Помимо нас, комнату также занимали толстяки спекулянты из Одессы.

Той ночью меня, крепко спавшего, разбудил проблеск яркого света, проникшего в комнату, и вдруг в дверном проёме я увидел две фигуры в масках, с револьверами, нацеленными на нас. «*Руки вверх и тихо*», – потребовали бандиты и все более чем поспешно повиновались, дрожа от страха.

Эта угроза, однако, не испугала Баранова, привыкшего к нападениям и внезапным стычкам с красными. Всегда спавший раздетым, но в папаше и с большим маузером под подушкой, он вдруг вскочил с постели, остервенело стреляя и выкрикивая самые страшные ругательства из кавалерийского обихода. Нас заволокло дымом, и я в панике залез под кровать. Когда всё успокоилось и облако дыма от револьверных выстрелов рассеялось, мы увидели одного бандита, лежащего на полу мёртвым, другой, свернувшись калачиком, с дырками от пуль в животе, умирал в коридоре.

Нападавшие на обитателей других комнат разбежались, преследуемые до самой улицы проворным Барановым в исподнем, который продолжал стрелять, словно новоявленный д'Артаньян.

Друг детства Ветлугин, сын одного из лучших ростовских врачей, был очень культурен и интеллигентен, его карьера в качестве журналиста начиналась блестяще, но в то время, как и следовало, он был без гроша в кармане и работал в маленькой меняльной лавке, чтобы обеспечить себя средствами, необходимыми для отъезда из Батума. Его мозг бурлил большими спекулятивными планами. Он был циником, по собственным словам, и следовал теории Сореля. Однако, в его офисе (столик, арендованный в углу галантерейного магазина) крупных сделок не заключалось. Вместе со своим партнёром, бывшим капитаном белой армии, он вынашивал планы отхватить сказочный куш, не исключая вооружённого нападения, дозволенного сорелианской моралью.

Когда он узнал о моём намерении уехать в Италию, и я сказал ему, что ещё владею бриллиантами, то план мой не одобрил, объявив его абсурдным. «*Стезя искусства длинна, – сказал он, – трудна, и тебе нужно спо-*

койно учиться. Сейчас самое время, чтобы учетверить твой капитал, и ты не должен пренебрегать никакой возможностью». Я был очень расстроен, а мой ум блуждал в таких далях, что я слушал про свои финансовые программы чисто механически. Логика подсказывала мне, что нужно уезжать, но чувство так сильно привязывало к моей земле, что я находил любой предлог, чтобы остаться, тем более потому что однажды я встретил друга, с которым расстался в Сочи, слышавшего о резне и пожарах в нашем городе, и был крайне обеспокоен судьбой всех моих родных и близких.

В один прекрасный день Ветлугин представил мне одного мафусаила: восьмидесятилетнего инженера невероятной живости, из Чехословакии, фамилия его была, кажется, Вольник, запомнившегося мне полным ртом золотых зубов и тем, что он постоянно рассказывал анекдоты. Этот старик был королём спекулянтов и перевозил грузы по всему Чёрному морю, от Батума до Севастополя и Константинополя. После пятого рейса он оказался владельцем большого состояния в фунтах стерлингов¹⁶⁵.

«В Крыму, – рассказал он, – жесточайший голод, рис стоит в пять раз дороже, чем в Батуме; сейчас я куплю его здесь, и отправлю в Севастополь через неделю, поэтому фрахтую судно целиком».

«Вот, – добавил Ветлугин, – хорошая возможность, которую мы не должны упустить. Создадим компанию: ты продаешь свой бриллиант, у меня есть немного денег, мы покупаем рис и везём его в Крым, где наши капиталы пятикратно умножатся. Оттуда ты отправляешься в Италию, а я в Париж. Это дело двух-трёх недель!» «Но как же? – спросил я. – В Крыму Врангель, гражданская война, и нас могут снова мобилизовать и бросить в пекло великой трагедии!»

«Ты наивен, меня Баранов обеспечивает всеми визами и печатями, необходимыми для поездки туда и обратно, врангелевское движение уже агонизирует, и в Крыму никто ни о чём таком не заботится!»

Не знаю, как я позволил себе согласиться на эту безумную авантюру, возможно мне казалось, что поездка в Крым приблизит меня к моей семье; или, возможно, новые события отвлекут меня от грустных мыслей, или моя воля, подточенная многими скитаниями и переживаниями, не сработала так, как раньше; дело в том, что я без всяких возражений позволил себя завлечь попытать удачу, вернувшись назад, да ещё в Крым, то самое место, где происходила заключительная и самая страшная вспышка гражданской войны.

¹⁶⁵ Вероятно, здесь и далее Г. И. Шилтян так называет османскую лиру.

Инженер Вольник уже отбыл со своим грузом, но нам пришлось ждать ещё неделю, прежде чем загрузиться с рисом, закупленным на средства, вырученные от продажи моего бриллианта. Напрасно господин Боберман и Лилли отговаривали меня от этой опасной поездки, которая могла по нынешним временам окончательно нас разлучить.

После печальнейшего «прощайте» лунной ночью мы отправились на заре со своим грузом риса на пароходе «Свет» напрямиком в Крым. «Свет» был небольшим грузовым судном, иногда перевозившим пассажиров, среди которых на себя обращали внимание два генерала, спекулировавшие как и мы, два перса и румынский крупье Джордже. Мы плыли вдоль кавказского побережья на север, ночью показался берег, находившийся в руках у красных, и все мы с тревогой смотрели на эту землю, где разыгралась сцена страшной трагедии.

На рассвете следующего дня мы прибыли в Феодосию; день был прекрасный, солнечный, но что-то трагическое витало в воздухе, будто чёрная пелена, обволакивающая всё и придающая всему оттенок печали и человеческого горя.

На борт поднялись два белогвардейских офицера, такие бледные и жалкие, что вызывали бесконечное сострадание. Мой армянский паспорт с печатями, поставленными Барановым, был в полном порядке, так что к счастью не возникло никаких проблем.

Поскольку корабль должен был стоять до самого вечера, я сошёл на берег, чтобы взглянуть на город, с которым меня связывали детские воспоминания. «Фонтан Айвазовского», художественная галерея, кафе, набережная пробудили воспоминания о тех счастливых днях, которые я провёл здесь с мамой.

Тогда Феодосия была милым городком, но с тех пор она ужасно преобразилась, и я, всем своим существом желавший избежать кошмара гражданской войны, снова внезапно оказался в её страшной пучине. Все встречаемые лица несли отметину печали и выдавали рвущуюся наружу тревогу. Я сразу понял, что совершил непростительную ошибку, дав себя ещё раз вовлечь в этот хаос, но моё душевное состояние, почти сомнамбулическое, создавало ощущение нереальности происходящего.

Тем временем Ветлугин ушёл разузнать, как идут дела и ознакомиться с биржевыми ценами. Несколько часов спустя мы встретились, выражение лица у него было драматическим, и я узнал от него, что рис

здесь стоит дешевле, чем в Батуме, головокружительная инфляция парализовала весь рынок, экономическая ситуация достигла хаоса и ничего не оставалось, кроме как доплыть до Севастополя и покориться происходящему. Я почувствовал странное беспокойство, как будто с того времени возникло ощущение ожидающего меня драматического исхода.

Между тем корабль приближался к пункту назначения, огибая берега некогда весёлые и радостные, ныне же печальные и мрачные, включая те места, которые я особенно любил – Ялту и Гурзуф.

На следующее утро мы прибыли в Севастополь, бухта которого, состоящая из множества маленьких заливов, – одна из красивейших в Европе.

В заводях ещё держались на плаву старые фрегаты времён Крымской войны, город был полон жизни, так как в нём находился генеральный штаб армии Врангеля, устроившего там свою столицу.

Движения было больше, чем в Батуме; все гостиницы и даже частные владения были реквизированы военными и использовались в качестве госпиталей; гражданское население спало на скамейках в городских садах или церквях; кроме того распространились эпидемии холеры и тифа. Высадившись, мы бросились на рынок узнать информацию о ценах, но к сожалению, рис здесь стоил ещё меньше, чем в Феодосии.

Инженеру Вольнику, прибывшему за неделю до нас, повезло больше, потому что ему удалось хотя бы ничего не потерять; мы были совершенно растеряны, не знали, где найти ночлег, но к счастью встретили много ростовских друзей, среди которых был один, служивший актёром, и он предложил нам переночевать на сцене летнего театра, под открытым небом. Было опасно пить воду и есть сырые фрукты и овощи из-за эпидемий, о которых я сказал. Мы очень устали, поскольку крутились весь день, пытаясь продать наш рис. Наступила ночь, и когда представление закончилось, мы смогли улечься на сцене.

Налетел сильный шторм, почти наводнение, вода хлестала со всех сторон. От усталости, от холода и от всех этих переживаний меня охватила сильнейшая лихорадка, сопровождаемая рвотой и поносом, из-за чего я был в ужасе, думая, что вдобавок ко всему заболел холерой. Ветлугин, опасаясь заразиться, убежал в другой угол сцены, между тем я ощущал приближение смерти.

На следующее утро мне стало немного лучше, но когда на сцену поднялись служители, то увидав моё физическое состояние и то, что было

вокруг меня, попросили меня немедленно покинуть театр; так что я в меланхолии отсиживался на садовой скамейке, рядом со своим чемоданом, пока Ветлугин бегал по делам. Через несколько часов, когда он вернулся и вновь обнаружил меня на скамейке, то показался мне более спокойным.

«Дела плохи, – сказал он, – но у меня есть несколько блестящих идей! Мои информаторы говорят мне, что в Севастополе самым абсолютным образом не хватает спичек! Надо срочно продать рис и ехать в Константинополь, чтобы купить спички и привезти их сюда. Я обошёл все магазины и у меня есть точные данные. Тебе в таком состоянии нечего и думать ехать со мной в Константинополь, к тому же нет смысла в двойных расходах на поездку. Я, однако, поеду завтра и возвращусь через неделю, привезя спички. Ты тем временем, можешь поехать в Ялту, где удастся найти ночлег и вернуться к моему приезду, после чего, наконец, оба направимся в Европу».

Я был настолько слаб, в том числе от не отпускавшей меня лихорадки, что не в силах был возразить; с другой стороны, как я мог сомневаться в парне, которого знал с детства, в сыне одного из лучших и уважаемых врачей моего города. Ветлугин сообщил мне, что продал рис, и продолжал повторять, что уже завтра пришwartуются суда, отбывающие в Ялту.

Мы снова спали на той же самой скамье в саду, из которого не отлучались уже двадцать четыре часа, не выпив даже стакана воды из-за страха перед холерой. Несмотря на все трудности и большую жажду, я начал чувствовать себя лучше, так что сопровождал Ветлугина до судна. Перед отъездом он дал мне денег на текущую неделю и назначил встречу на следующей. Дожидаясь возвращения своего друга, я решил отправиться в Ялту на пароходе «Царевич Георгий», на котором так часто мы с мамой плавали в Крым.

Солнце, свежий морской воздух и воспоминания о прошлом повлияли на моё здоровье благотворно.

Ветлугин был прав: в этом городе не было таклюдно, как в Севастополе, было много раненых и больных, но несмотря ни на что, то место, где я провёл лучшие годы своего детства, было по-прежнему великолепно. Я нашёл комнату в когда-то знаменитом отеле «Ореанда», где останавливался несколько раз с моей семьёй, постройки девятнадцатого века, тихом и спокойном, с красивыми коврами, золотыми зеркалами, картинами в резных рамах, красным бархатом и тенистым садом с пальмами и олеандрами.

Мне казалось, не знаю почему, что я перечитываю страницы Марии Башкирцевой¹⁶⁶, мне казалось, что я снова вижу тени красивых аристо-

¹⁶⁶ Мария Константиновна Башкирцева (1858–1884) – русская художница, автор знаменитого дневника. Большую часть жизни провела во Франции.

краток, любовниц элегантных офицеров с мужьями-дипломатами и злотокудрыми дочерьми в сопровождении английских гувернанток.

В такой обстановке ко мне вернулось спокойствие, я начал рассуждать яснее и чётче. Я решил ждать возвращения своего друга после его отъезда, что бы ни случилось в Константинополе. Утром я прогулялся в саду, возвышающимся над всем городом, потом улёгся под кипарисами, чтобы полюбоваться видом на море, более синее, чем небо и на меня снова нашло непреодолимое желание уехать в Италию, конечную цель моего странствия.

Глядя на пейзаж, я вновь обрёл силу и волю твёрдо следовать своей цели, отбрасывая всякую нерешительность или мысли о бесполезном возвращении. В принципе, как я мог помочь своей семье? Не лучше ли было продолжить избранный путь, без слабости, уверен, что я не мог доставить маме большей радости, чем добраться до цели, которой я так жаждал, и добиться успеха в жизни и искусстве?

Я опять почувствовал себя сильным и живучим, спешил в своих мыслях до конца предстоящей недели уехать из России окончательно. Однажды вечером я шёл вдоль побережья, погружённый в свои мысли, когда почувствовал дружеское похлопывание по плечу: это был старый Вольник, возвратившийся из своей очередной поездки, как всегда сияющий и счастливый. Я рассказал ему о наших приключениях и когда история моих несчастий закончилась, он от души расхохотался, комментируя, что мы были слишком молоды для подобных авантур. Увлечённый разговором о том, что я хочу заниматься живописью, он добавил: *«Но почему вы занимаетесь бизнесом, когда у вас и так есть золото в руках? Я знаком с одним художником в Константинополе, который зарабатывает деньги, и знаете как? Он делает рисунки, такие!..»* – и он подмигнул, улыбаясь со значением.

«Какие рисунки?» – спросил я.

«Порнографические!» – ответил он. – *Турки такие вещи разбирают, как горячие пирожки, и они готовы платить до десяти турецких фунтов за хороший сюжет. Ваш коллега таким образом уже сделал огромное состояние: вот вариант заработать, если вы способны!»*

Остальные дни в Ялте я провёл в парке среди кипарисов и лавров, с гётевским «Путешествием в Италию» в руках, думая только о живописи и своём ближайшем отъезде, и с этой оптимистической программой я отбыл в Севастополь.

Приехав в этот город, я был озабочен поисками жилья: Ветлугин придет на следующий день, и я должен был решить проблему приюта на ночь. Несмотря на то, что практически невозможно было устроиться, мне повезло, потому что прогуливаясь по проспекту Нахимова, я встретил группу военных, среди которых узнал своего друга Ару, с которым уже виделся в Сочи и Туапсе. Мы обнялись и узнав, что я не могу найти место для ночлега, он предложил мне разделить с ним комнату, занимаемую вместе с другими военными.

Дом, где находилось это пристанище, располагался в пригороде, в четырёх-пяти километрах от города, в сторону Чёрной¹⁶⁷. По пути Ара сказал мне о своих перипетиях, о своих приключениях, о его заботах об оставленной семье, они были идентичны моим. Любой ценой он хотел вернуться домой, и именно поэтому он снова поступил на службу в Белую армию, в корпус, который, как говорили, должен был вскорости высадиться на побережье Азовского моря, недалеко от нашего города.

Та военная операция готовилась некоторое время в полной секретности: это был последний стратегический план генерала Врангеля, он хотел, высадившись на Таманском полуострове, взять Ростов с тыла и пресечь таким образом сообщение между Северным Кавказом и Россией, чтобы затем попытаться освободить Крым, используя завлекающий манёвр. Высадка готовилась в течение нескольких месяцев и для этого были привлечены наиболее надёжные и смелые.

План Ары, наоборот, состоял в том, что он должен был любой ценой попасть домой, и поэтому, если военная операция провалилась бы, он думал дезертировать, скрываясь у какого-нибудь крестьянина, выбросить форму и вернуться в семью как можно скорее.

Так же думали и его товарищи, все ростовские студенты. Напрасно они пытались убедить меня пойти с ними; со своей стороны я хотел убедить их не участвовать в этой новой авантюре, но мне не удалось заставить их прислушаться к голосу разума.

На следующее утро я встал на рассвете, чтобы быть готовым на месте к прибытию парохода из Константинополя. Судно, на котором должен был приехать Ветлугин, появилось на рейде, и после необходимых процедур причалило. Среди многих незнакомых лиц толпы, сходящей с корабля, я с нетерпением искал Ветлугина, но так его и не увидел. Я подумал, что он остался в каюте и не менее часа простоял в ожидании, пока мне

¹⁶⁷ Чёрная — река к юго-востоку от Севастополя, впадает в Севастопольскую бухту.

не сказали, что на борту больше никого нет. Я был немного разочарован; но не обеспокоен. Я думал, что нечто задержало моего друга в Константинополе, и что он прибудет со следующим рейсом. Но вызвала беспокойство моя ситуация, потому что у меня оставалось только несколько рублей, которых могло бы хватить всего на несколько дней. Я решил их жёстко экономить, мои друзья мне помогали, делясь своими пайками.

Через два дня я вернулся в порт, где ожидалось очередное судно из Константинополя. На этот раз я смотрел на горизонт с большой тревогой, пока не увидел его. Опять мимо меня продефилировали все пассажиры, но Ветлугин не появился. Я думал, что он мог бы по крайней мере послать какую-нибудь весточку и его молчание меня несколько тревожило. Я приходил к каждому швартуемому судну, я смотрел на все лодки, которые прибывали в порт; я устремлял взгляд на море, как Пенелопа в ожидании Одиссея, от рассвета до того момента, когда солнце погружалось в мерцающее Чёрное море, но тщетно. Ветлугин не приехал!

Моё возбуждение выросло соразмерно с утраченными деньгами, тем более, что моё пребывание в Севастополе было полно опасностей. Моя виза ещё могла длиться месяц, но в те дни в связи с проверками, контролем, облавами всегда существовал риск быть пойманным, выданным или отправленным в тюрьму или в какое-то боевое подразделение.

Мои лишения с каждым днём, каждым часом, каждой минутой неизменно возрастали. При этом через мой мозг и сердце всё время молнией проскакивала мысль: я стал жертвой хорошо обдуманного преступного плана, вследствие которого был брошен безоружным в своего рода ад, откуда без денег я не мог выбраться. Всё было предусмотрено: он воспользовался моей наивностью, моим доверием, чтобы сыграть надо мной трагическую шутку, и это сразило меня ещё сильнее, потому что исходила она от друга детства, которому я слепо верил.

Это было не столько страхом перед ожидавшим меня будущим, сколько испытанием страшного унижения, жестокого разочарования. Я всегда считал себя сильным, способным достичь любой цели, уверенным в своих воле и разуме, готовым на любые жертвы. Я, полагавший себя сверхчеловеком, способным покорить самые высокие вершины, наоборот вдруг почувствовал себя с невероятной жестокостью втоптаным в грязь, цинично обманутым, оскорблённым и оплёванным. В конечном

счёте я оказался наивным юнцом, попавшимся на приманку и соблазненным фантастическими прожеками, я бездумно обошёл с деньгами, отданными мамой в такое тяжёлое время. Глубочайшая тоска переполняла мою душу; я бродил по городу, как сумасшедший: то шёл в гавань, чтобы увидеть прибывающие суда, то меня несло на набережную и под палящим солнцем я в отчаянии смотрел на горизонт и потом опять возвращался в порт; и так нескончаемые дни.

Отчаяние чередовалось с каким-то быстро угасающим дыханием надежды; ночами я не спал, и чтобы не разбудить товарищей своими слезами, душил рыдания, кусая подушку, а когда удавалось на несколько минут заснуть, в кошмарных снах мне являлись огромные горы риса, в которых я тонул, или кучи спичек, о которые я рассекал голову.

Слишком поздно я распознал страшную ловушку, в которую угодил; вспоминая произошедшее, я понял, что стал жертвой дьявольского плана, и теперь явно представлял себе образ циничного человека, пославшего меня в Крым, чтобы ограбить и избавиться от меня, бросив обратно в пучину гражданской войны, где я мог бы исчезнуть навсегда.

Как и где я мог добраться до этого человека? Может быть, он уже был в Париже с моими деньгами, а я, наивный и доверчивый, не знал, как избежать своего приговора. Для того, чтобы покинуть Крым, мне нужно было триста тысяч рублей на поездку, но если бы я смог добраться до Константинополя, что бы я делал в чужой стране, в одиночку, не зная ни одной живой души? Я потерял всё. Я плакал от страха, унижения, гнева, и если бы в этот момент встретил Ветлугина, я бы его убил. Иногда я всё ещё надеялся, что он вернётся. Это были самые трагические дни моей жизни.

Наконец однажды, после столь долгого ожидания, среди пассажиров, прибывших из Константинополя, я встретил одного человека, знакомого по Ростову, сообщившего мне, что в городе он точно видел Ветлугина. Когда я спросил, не передал ли он случайно с ним билет для меня, он ответил отрицательно, добавив даже, что тот находился в плохом состоянии и выглядел так, будто всё проиграл. Новость эта меня никак не обрадовала, разве только не привела к выводу, что, возможно, Ветлугин был не таким уж дьяволом, как я полагал, но всего лишь глупым мальчиком, чьё легкомыслие меня разорило.

Теперь вся трудность состояла в том, чтобы каким-то образом выбраться из ловушки, в кризисе уныния и отчаяния только сила воли вела

меня к разрешению ситуации любой ценой. Несколько дней я не ел и спал на одной из скамеек в парке, сдав на хранение свой чемодан в гостиницу. Мои друзья уехали в Феодосию и, возможно, уже были задействованы в опасной высадке. Их комната была уже занята другими военными, которых я не знал. Я весь день умирал от голода и усталости под палящим солнцем, в то время как в моей бедной голове возникали самые отчаянные планы бегства. Я хотел нелегально сесть на какое-нибудь судно, но это было невозможно, потому что все причалы строго проверялись. Я был в таком состоянии отчаяния, что думал броситься в море и навсегда завершить свои приключения.

На пятый день абсолютного поста, случайно блуждая по всему городу, как испуганная и побитая собака, измученный спазмами желудка от голода, я встретил некоего Костю, карантинного чиновника, которого знал по Ростову. Он работал в интендантской службе Белой армии и выглядел сытым и спокойным.

Увидев меня в таком состоянии, он сжалился и привёл меня в свою комнату, где и приютил. Благодаря отеческой заботе этого человека я смог восстановиться физически и морально. Он принёс несколько банок тушёнки и хлеб с военных складов, и так понемногу я окреп и смог опять соображать.

Ночью, с открытыми в темноте глазами, пока Костя храпел, я ставлял себя искать выход. Пока я думал, мне вдруг пришли на память слова инженера Вольника о порнографических рисунках: может быть это и есть средство, чтобы спастись!

На следующий день я сообщил свою идею Косте и с точки зрения его сытого благодушия идея ему показалась блестящей, так что вечером он вернулся с бумагой, кистями и цветной акварелью, со словами: *«Я дам тебе такие идеи, ты шедевры сделаешь!»*

Я сразу принялся за работу в то время как тяжело дыша у меня за спиной Костя удовлетворённо смотрел, волнуясь перед одетыми в чёрный шёлк провоцирующими ножками и розовой наготой; стиль, которому я пытался немного подражать по литографиям Гаварни¹⁶⁸, подсмотренным в альбоме моего дяди и французском журнале «Парижская жизнь». Моя работа очень понравилась моему хозяину, который зачастую не ходил в контору, чтобы посмотреть на мою работу и приносил мне в награду двойную порцию консервов.

¹⁶⁸ Поль Гаварни, собственно Ипполит Сюльпис Гийом Шевалье (1804–1866) – французский график, карикатурист, художник книги.

Я уже закончил дюжину листов, ценный товар в Константинополе, но где найти деньги, чтобы туда попасть? Днём я не выходил, посвящая все часы своим рисункам; вечером мы с Костей ходили гулять по дорожкам приморского парка. Но не выходил я также потому, что продолжались облавы и в любое время дня можно было быть схваченным.

Пришло известие о знаменитой высадке на Таманском полуострове. Все с тревогой ожидали исхода этой операции, но через несколько дней стало известно, что высадка не удалась, а все участники погибли. После этого драматического события жизнь в Крыму стала ещё более мрачной и тяжёлой. Все понимали неизбежность трагического конца последователей Врангеля: речь шла о нескольких месяцах или даже неделях, потому что красные могли легко форсировать Перекопский перешеек и тогда захватить весь Крым.

Я познакомился с некоторыми моряками, в надежде иметь возможность сесть на борт нелегально. Но и эта идея оказалась невозможной, потому что проход таким образом обошёлся бы мне гораздо дороже, чем обычный билет. Однажды вечером, во время прогулки в городском саду, в толпе я заметил улыбающиеся лица двух человек, с которыми уже был знаком: двое персов, с которыми я путешествовал на знаменитом корабле «Свет», два недобросовестных типа, промышлявшие в черноморских портах. Они считали меня одним из них.

Мы мало-помалу разговорились, наши разговоры свелись к делам, и они поведали мне, что у них в руках сейчас одно такое, очень большое и важное. Я наострил уши, предаваясь надежде, что удастся накопить сумму, которая позволила бы мне уехать из России. *«Мы ищем советские рубли, – шептал мне перс. – На константинопольской бирже они хорошо котируются, и мы предлагаем двойную цену тому, кто найдёт нам несколько миллионов».*

Инфляция достигла апогея, а валюта обесценилась полностью, так что население не придавало никакого значения этим кускам бумаги. В эту пору в Крыму, циркулировали банкноты всех видов: от царских рублей и керенок до денежных знаков Белой армии, которые называли «колокольчиками», потому что они были напечатаны на фоне колокола¹⁶⁹.

Но советской валюты там не существовало, и нарушители, у которых бы она обнаружилась, могли быть расстреляны на месте как изменники.

«Ты знаешь многих офицеров, – сказал мне один из персов, – а, возможно, некоторые из них служат в контрразведке, и безусловно у них в запасе есть советские деньги!»

¹⁶⁹ Точнее, «Царь-Колокола». Речь идёт о денежных знаках «государственного казначейства Главного командования вооружёнными силами на юге России».

Предприятие было очень опасным также из-за трудностей поиска надёжных людей, которым можно было доверить сделку, не подвергаясь особой опасности. В тот же вечер я поговорил об этом с Костей, который пообещал мне узнать об этом деле, переговорив со своим другом, полковником контрразведки. Действительно, на следующий день Костя сообщил мне, что деньги нашлись, но нужно было действовать с предельной осторожностью, чтобы не быть разоблачёнными и расстрелянными.

После нескольких встреч и переговоров между двумя сторонами, чтобы договориться о правильной цене, мне удалось обставить дело таким образом, что мне должен был остаться некоторый навар. Самой серьёзной проблемой было, однако, найти средства и место, где без особых опасностей можно было проверить сделку.

Костя предоставит деньги, но с абсолютным запретом проведения обмена у себя дома, потому что слишком боялся себя скомпрометировать. Персы жили на своём судне, и было невозможно взять с собой даже небольшой пакет без того, чтобы его не вскрыла охрана порта. С другой стороны, шататься по улицам с тяжёлым пакетом банкнот было очень рискованно, поскольку так же, как в Ростове и Туапсе, дороги часто внезапно перекрывались и всех прохожих обыскивали сверху донизу.

Несмотря на всё, я настроился решительно, зная, что это была моя единственная надежда на возможность уехать. Я лихорадочно обдумывал все варианты, чтобы найти тихое место, которое позволило бы нам пересчитать три миллиона, не будучи замеченными или побеспокоенными. Мой выбор пал на кладбище, расположенное в нескольких километрах от города, так я и договорился с персами, которые должны были прийти в назначенное место среди могил.

Накануне вечером Костя пришёл домой с большим пакетом, состоящим из нескольких пачек банкнот, уже подсчитанных, рассортированных и обёрнутых бандерольками. Купюры были разного достоинства: в тысячу, пятьсот и даже сто рублей; отчего сосчитать их потребовалось бы весьма много времени. Во всяком случае, на следующий день я пошёл на встречу с большим свёртком под мышкой и с беспорядочно колотящимся сердцем. Опасность была велика, потому что если бы меня остановил патруль и нашёл бы все эти советские деньги, меня бы расстреляли на месте или повезли бы пытать в контрразведку, и я не уверен, смог бы я объяснить происхождение этой суммы, не скомпрометировав немедленно своих друзей.



«Колокольчики»
Белой армии

К счастью, всё прошло гладко, я прибыл в условленное место, и среди могил увидел пришедших заранее персов, также с тяжёлыми пакетами под мышкой. Усевшись на старом надгробии с большим крестом, мы начали считать. Недоверчивые персы сетовали, что разнообразное достоинство банкнот делает работу бесконечной. Считали все втроём, потому что никто из нас не доверял друг другу; иногда счёт не сходился, и приходилось начинать всё сначала. Я прикинул, что работая в таком темпе нам придётся несколько часов провести на кладбище, так как потом мне нужно было пересчитать шесть миллионов, принесённых для меня. Примерно через час мы услышали в отдалении звук военного оркестра, играющего траурный марш, это были похороны какого-то старшего офицера. Дрожащими руками мы завернули пакет, и спешно ушли с кладбища, уже наполнявшегося офицерами и любопытствующими, которые присутствовали на похоронах.

Я был полон решимости завершить операцию в тот вечер, потому что через два дня отбывал пароход в Константинополь, а я не хотел его пропустить. Тогда я подумал взять с собой персов в город, в тот сквер, где был театр, на сцене которого я спал; я был знаком со сторожем и, возможно, нас бы пустили, чтобы довести нашу работу до конца. Но нужно было снова пересечь город с большим пакетом и рисковать ещё раз нарваться на неожиданности. Оба перса не захотели присоединиться ко мне и следовали за мной по другой стороне улицы.

Я нёс свёрток под мышкой, но он был настолько ненадёжно упакован, что достаточно было толчка, чтобы советские миллионы разлетелись в воздухе и усеяли улицу, трагические последствия чего можно было легко представить. Прогулка казалась бесконечной, но в конце концов мы пришли к театру, куда, к сожалению, не удалось войти, так как там шла репетиция.

Мои друзья и я начинали нервничать. Опасаясь, чтобы меня не посчитали уклоняющимся от удачной возможности, я вдруг решил использовать общественный туалет, где хотя бы можно было запереться и закончить работу. Войдя в весьма грязную уборную и запершись, мы втроём опять начали пересчитывать наше сокровище. Дело продвигалось успешно, за исключением того, что другие люди тоже захотели зайти, и услышав наши голоса, начали кричать и стучать в дверь. Опять мы

вынуждены были прервать работу, чтобы не вызвать недоумения у тех, кто имел насущную потребность занять наше место.

У нас сложилось впечатление, что нам так и не удастся довести до завершения нашу операцию; поэтому я предложил им акт взаимного доверия: обменяться пачками рублей, не пересчитывая их, так как в тех, которые уже были проверены, всё сходилось. Зайдя в полупустой ресторан, мы обменялись богатствами, подсчитывая их только отдельными пачками, на которых была проставлена сумма содержимого. Двое персов понесли опасный сверток с советскими деньгами, удаляясь в сторону гавани, в то время как я направился домой, сжимая в руках заветные шесть миллионов рублей.

Костя ждал меня, озабоченный моим запаздыванием, я был встречен со вздохом облегчения. Полковнику причитались пять миллионов, остальное должно было быть разделено между нами. Мы начали пересчитывать деньги, чтобы отделить нашу долю прибыли, и заметили, что в первой пачке не хватает ста тысяч рублей. Это было неприятно, но я всё равно был счастлив, потому что четыреста тысяч рублей позволяли мне уехать из Севастополя.

Не теряя ни минуты, несмотря на вечернее время я побежал в кассу, чтобы взять билет, они продавались только тем, кто имел действующую визу в паспорте. Было 3 августа 1920 г., и моя виза истекала через десять дней. Если бы мне не повезло встретить двух персов и проверить комбинацию с рублями, моя жизнь могла бы сложиться совершенно по-другому, потому что с моим подозрительным паспортом вряд ли удалось бы получить другую визу.

За пять минут до закрытия кассы я купил обошедшийся мне в триста тысяч рублей билет на пароход, уходивший через два дня. На оставшуюся сумму я выкупил чемодан из гостиницы, где сдавал его на хранение, и купил немного хорошего цветного картона, который, безусловно, придавал бы элегантный стиль моим рисункам, и, наконец, один турецкий стерлинг, капитал, который носил с собой, и который мог послужить оплатой за номер на одну ночь в какой-нибудь третьеразрядной константинопольской гостинице. Но всё равно я был счастлив, полон надежд и мужества; я стал забывать дни унижения и страха, я казался себе новым человеком, способным преодолеть все препятствия и добраться до столь желанной цели.

Вернувшись домой, я немного привёл в порядок свою одежду, после стольких недель я переоделся, вечером я вышел с Костей, чтобы попро-

щаться в городском саду с несколькими друзьями. Среди толпы внезапно появились двое моих персов, с красными от гнева лицами, делавшие мне странные знаки, которых я не мог понять. Я был так доволен, что больше не думал об их трюке с сотней тысяч рублей; но они подзывали так настойчиво, что я решил к ним подойти. Они завели меня в полутёмный и полупустой переулок и схватили за грудки, крича, что я обманщик, потому что в пакете, отданном им, не хватало трёхсот тысяч рублей, и если им их тут же не вернут, то меня изобьют и сдадут властям.

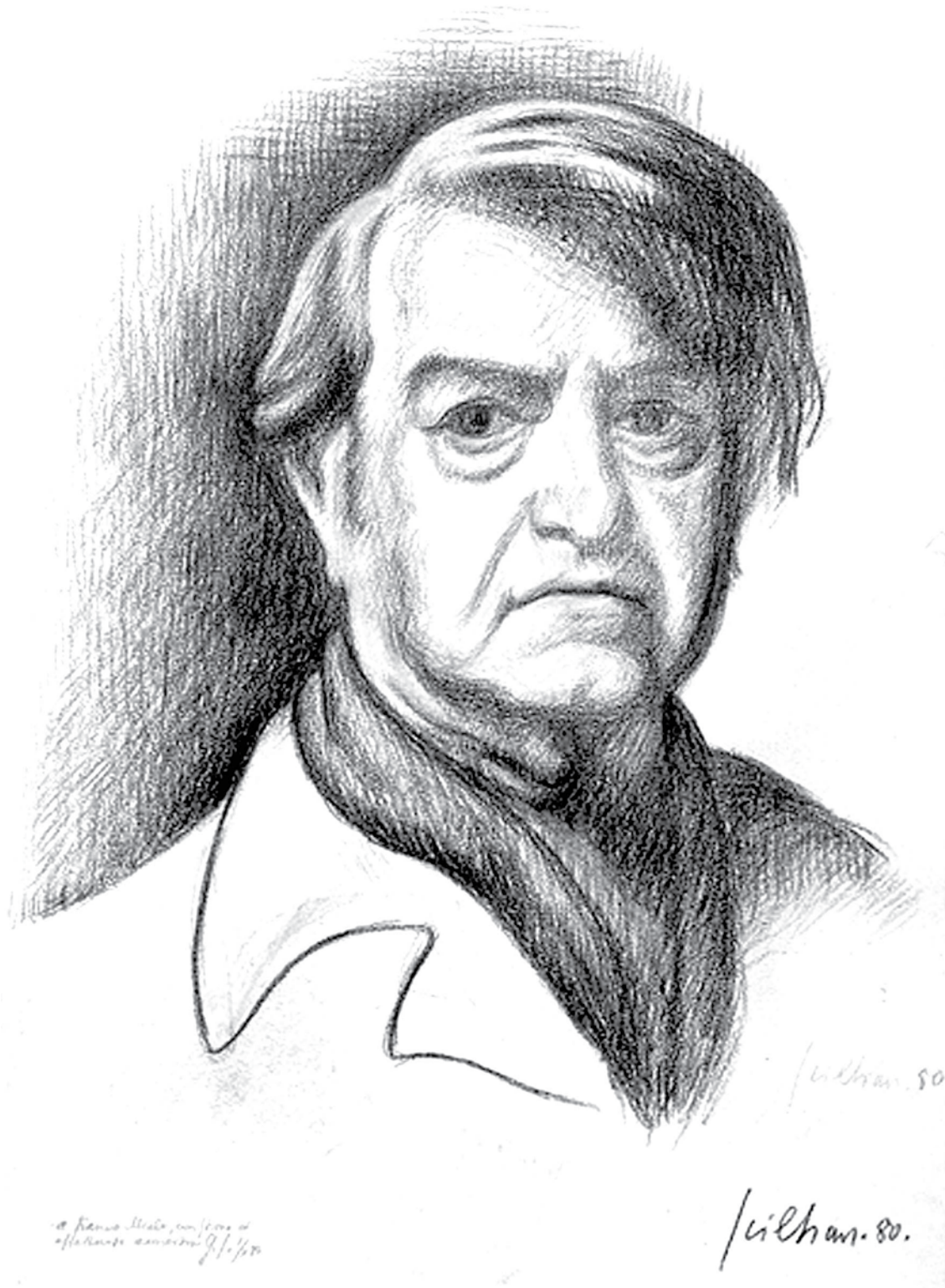
Сначала я растерялся, но потом, когда смог успокоиться, заявил, что сделаю с ними то же самое, так что расстреляют нас всех вместе.

На них оказал воздействие этот довод, да ещё внушительный и боевой вид Кости в офицерской форме, приближающегося к нам в поисках меня.

Тем не менее, из благоразумия весь следующий день я не выходил из дома, опасаясь неприятных встреч и считая часы, отделявшие меня от долгожданного отъезда. Пароход должен был сняться с якоря в девять, но уже на рассвете, поблагодарив Костю и тепло с ним попрощавшись, я отправился в порт, где нужно было пройти все досмотры и обязательные проверки, прежде чем ступить на палубу того корабля, которому суждено было от страданий и насилия гражданской войны унести меня далеко и навсегда.

Конец первой части.

Г. И. Шилтян.
Автопортрет. 1980.



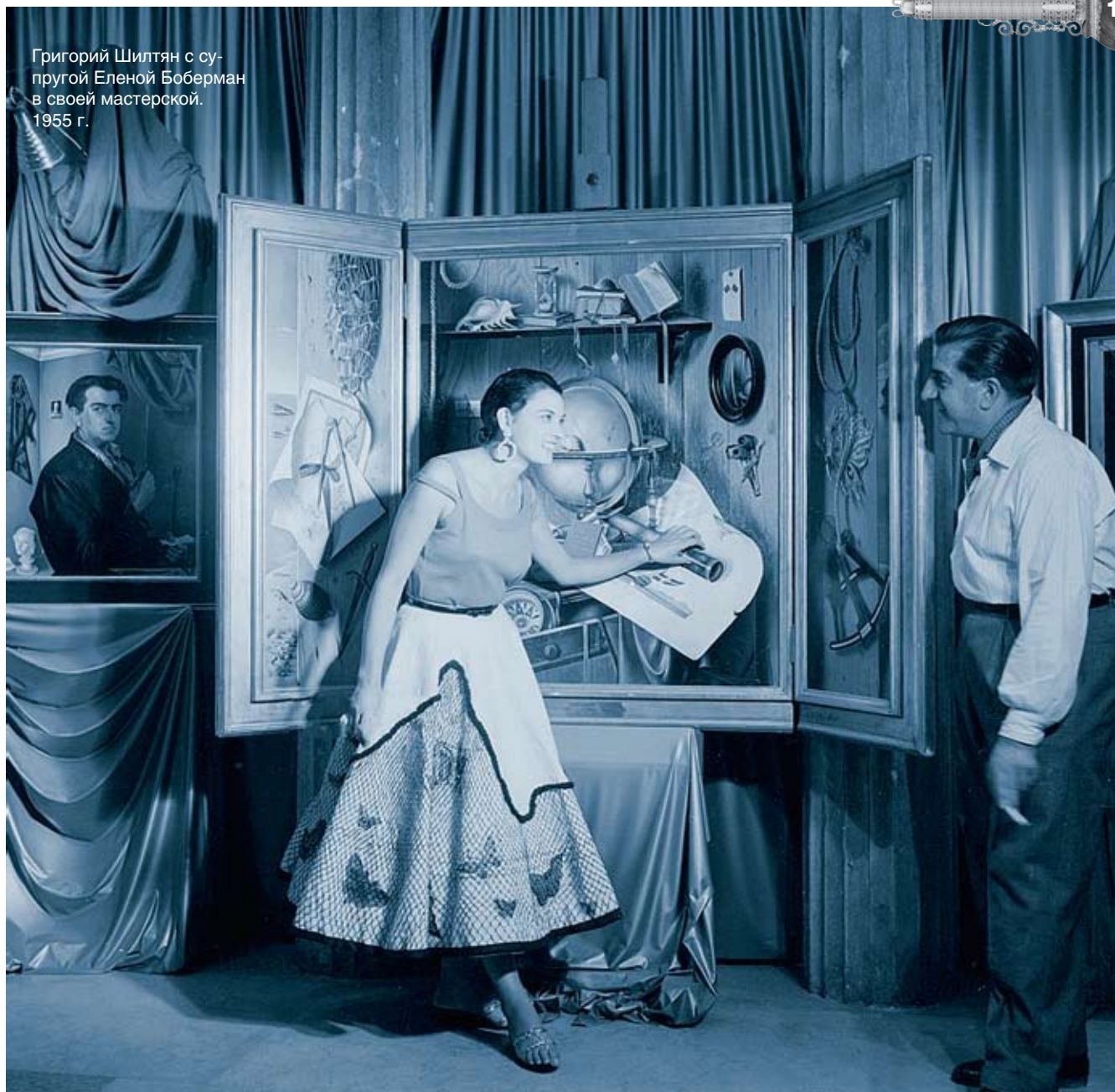
Единственной истинной
и высшей целью искус-
ства живописи было и
всегда будет создание
иллюзии реальности.

Григорий Шилтян



Семьи Мелконовых-
Езековых, 1900-е гг.
В центре – бабушка ху-
дожника, за ней справа –
его отец Иван, перед ним
сидит его мать Акулина.
Из собрания Н. Г. Дюрге-
рова; оцифровал
А. С. Хатламаджиян

Григорий Шилтян с супругой Еленой Боберман в своей мастерской. 1955 г.



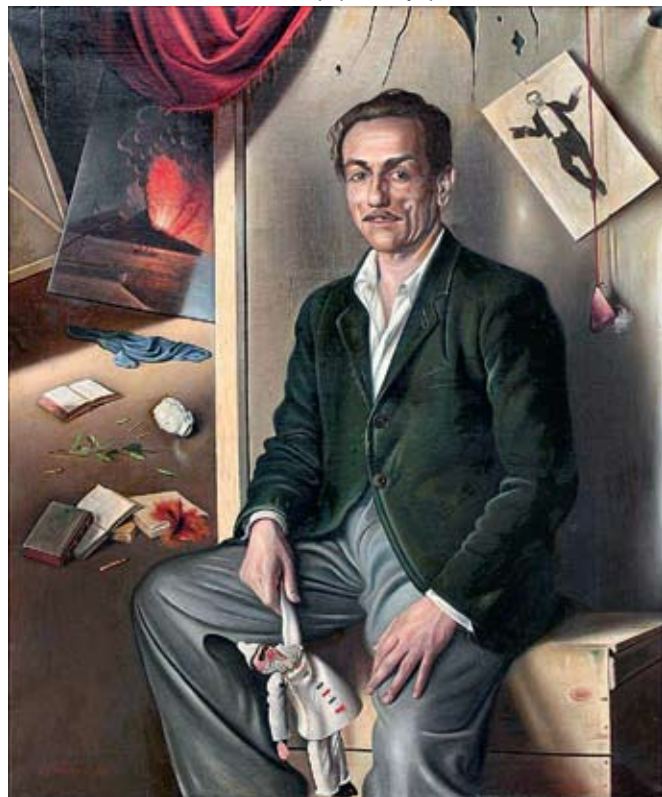
«Монцкий собор»,
1939





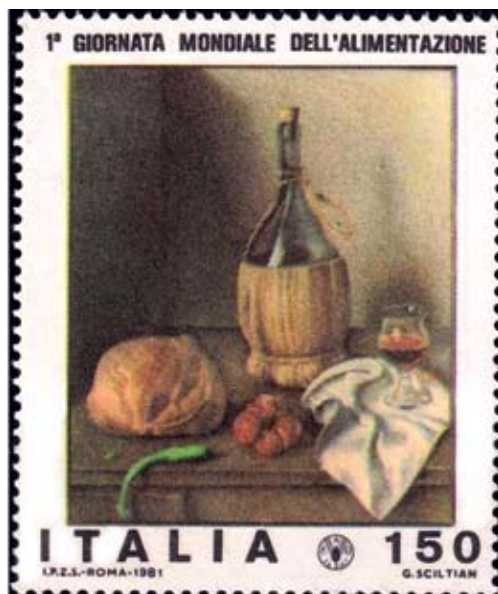
«Вакх в таверне», 1936

«Портрет Эдуардо де Филиппо», 1953



«Уголок в студии», 1962

Без названия
около 1962



Эскизы театральных работ Г. И. Шилтяна, выполненных к спектаклям, поставленным в театре оперы и балета «Ла Скала» (Милан, Италия).

Несколько работ Григория Шилтяна попали в почтовые марки. Так в 1968 году на марке Кубы было репродуцировано его полотно «Филателист». Эта марка широко продавалась в СССР и была отмечена в филателистической литературе тех лет.

«Занятие музыкой».
1930



«Сон в летнюю ночь»,
фрагмент, 1957





«Два возраста», 1956

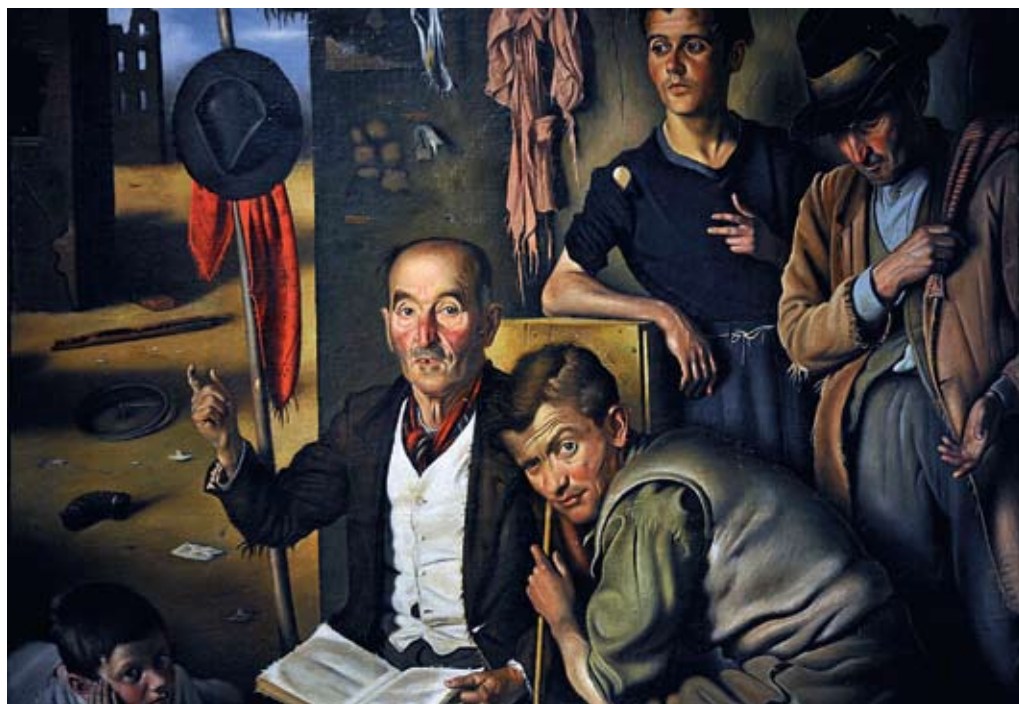
«Мадонна армян», 1960.
Картина была написана по заказу
Католикоса Всех армян Вазгена I.
Находится в Первопрестольном
Святом Эчмиадзине



«Вечная иллюзия»,
1967–1968



«Бродяги», 1943





«Вирсавия», 1953,
фрагмент



Портрет
Элеоноры Росси Драго,
1954



«Комедия», 1958

«Натюрморт», 1935



«Девушка с жемчугом»,
1980



«Портрет Виттории Дакко»





Натюрморт со скрипкой,
1981



Натюрморт памяти
Роберто Лонги, 1940

Жизнь замечательных нахичеванцев

**Григорий ШИЛТЯН.
Моё приключение**

Автор идеи и куратор проекта *М. Г. Талалай*

Перевод и комментарии *А. О. Летовальцева*

Ответственный редактор *Н. В. Мирзабекова*

На обложке:
Г. И. Шилтян, «Автопортрет»

Отпечатано в типографии «Лаки Пак» (ИП Харченко Т. В.):
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 112,
тел.: (863) 232-08-78, 210-03-11, факс 231-85-14.
Заказ № 820.

